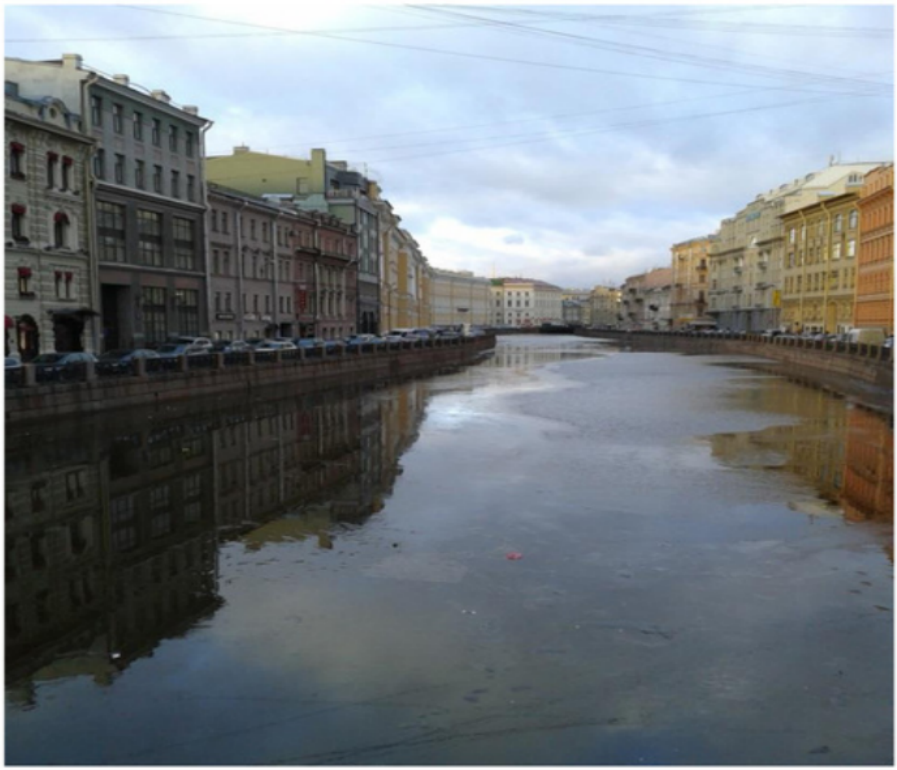
ГАРРИ БЕАР

СТРАННЫЙ ДОМ, НИМФЕТКИ и ДРУГИЕ ИСТОРИИ

СБОРНИК РАННЕЙ ПРОЗЫ



Москва, 2014

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга прозы Гарри Беара «Странный дом, Нимфетки и другие истории» включает в себя пять произведений, созданных писателем в начале-середине 1990-х годов. Повесть «Странный Дом» выполнена в манере «готической новеллы», это та жанровая разновидность, которую успешно использовали классики жанра – Э. По, Э.Т. Гофман, А. Дюма. Рассказы «Смерть Музыканта» и «Поездка в Одессос» – вполне реалистические произведения с незамысловатыми сюжетами, но глубокое психологическое напряжение не оставляет читателя до самого конца повествования.

Скандальный рассказ-моралите «Нимфетки» и эссе «Набакофф», по словам автора, представляют собой, наряду с романом «Альбатрос», взаимодополняющий друг друга текст по имени «Пост Модерн». В 2003 г. Г. Беар иронично заявляет в одном из своих комментариев к «Альбатросу»: «Перефразируя известные слова В. Соловьева, я любил повторять в то историческое время: „Постмодернизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно“».

По словам челябинского поэта Ю. Попова, «…любой текст Гарри Беара раскрывается не сразу; он предполагает наличие в читателе определенного навыка распознавания культурного кода, диалога с автором». И данная книга предоставляет читателю возможность такого диалога.

- Гарри Беар
  - ○
  - ○ От автора
  - ○ Странный дом
    - ■
    - ■ Предисловие
    - ■ 1. Завязка
    - ■ 2. Генрих Мерсье
    - ■ 3. Марк
    - ■ 4. Загадка картины
    - ■ 5. Княгиня дель Пьомбо
    - ■ 6. Искупление
    - ■ 7. Развязка
  - ○ Смерть музыканта
    - ■ Детство
    - ■ Юность
    - ■ Зрелость

- Последняя встреча
- Послесловие

○ Нимфетки
-
- Необходимое предисловие
- Часть 1
- Часть 2
- Нравственное отступление
- Часть 3

○ Поездка в Одессос
-
- Нахамизм 1. Вокзальная суета
- Нахамизм 2. В вагоне поезда
- Нахамизм 3. Одесское семейство
- Нахамизм 4. Старины в Одессосе
- Нахамизм 5 и последний

○ Набакофф
-
- Предисловие
- Начало пути
- «Русский» период В.Сирина
- «Американский» период. Роман на века
- «Швейцарский» период. Признание

Гарри Беар
Странный дом, Нимфетки и другие истории (сборник)

©ГАРРИ БЕАР, 2014
©И.Е. Медвецкий, 2014

От автора

Уважаемые читатели!

С большим удовольствием хочу предложить Вашему вниманию пять своих ранних произведений – рассказы «Смерть Музыканта», «Нимфетки» и «Поездка в Одессос», повесть «Странный Дом», эссе «Набакофф». Хотя с момента замысла текстов и их написания прошло довольно много времени (все они создавались в конце 1980-х и первой половине 1990-х гг.), я не раз возвращался к ним, внося стилистические и технические коррективы. Наверное, нет смысла комментировать сюжеты произведений, если Вы держите в руках эту книгу или смотрите

на нее с экрана монитора Вашего компьютера. Думаю, Вы сами во всем сумеете разобраться и растолковать себе ситуации, в которых, по воле непреклонного автора, оказывались его персонажи.

Обратить Ваше внимание я хотел бы на несколько моментов. Повесть «Странный Дом», которая использована в названии этой книги, обычно не вызывает раздражения у читателя, она выполнена в манере «готической новеллы». Это та жанровая разновидность, которую успешно использовали в свое время классики жанра – Э. По, Э.Т. Гофман, А. Дюма, ранний Гоголь. Сюжеты рассказов «Смерть Музыканта» и «Поездка в Одессос», пожалуй, тоже не требуют особого пояснения, это реалистические произведения, сюжеты которых сообщала мне порой сама жизнь.

Другое дело – рассказ-моралите «Нимфетки» и эссе «Набакофф», которые представляют собой, наряду с первыми моими романами «Альбатрос» и «Олли, или Новая Лолита», взаимодополняющий друг друга текст по имени *«Пост Модерн»*. Эти тексты принадлежат к постмодернистскому периоду моего творчества, то есть несут в себе набор приемов, свойственных творческому методу, который в идеальном варианте был представлен в произведениях Д. Джойса, Ф. Кафки, В. Набокова, Х.-Л. Борхеса. И в «Нимфетках», и в «Альбатросе», и даже в эссе о Набокове присутствуют явные аллюзии на портреты и реплики героев классических текстов, и пародийное обыгрывание сюжетных ситуаций других произведений, и навязчивый автокомментарий, и «игра с читателем». В «Нимфетках» внимательный читатель сразу же почует острый запах «Тамани» М. Лермонтова, услышит отзвук песен Гриши Добросклонова из эпической поэмы Н. Некрасова, не говоря уж о прототипах героев из текстов, которые просто введены автокомментарием в рассказ.

В то далекое время я считал весьма принципиальным, чтобы читатель уподоблялся следопыту, который не просто пролистывает страницы моих произведений, а прямо погружается в иллюзию вновь создаваемой реальности, видя там все намеки, экивоки, подсказки и зеркальные отражения. Сейчас, конечно, я спокойней отношусь к одностороннему и поверхностному чтению произведений и даже к «обывательской» критике, которую всегда считал не вполне справедливой.

Тем не менее, моя надежда на ВНИМАТЕЛЬНОГО читателя не угасает, ибо читать художественный текст, не вникая в его суть, по-моему, это то же самое, что слушать классическую музыку, заткнув уши плотным слоем ваты, или смотреть современный игровой фильм, отключив в телевизоре всю его цветовую гамму, а заодно и звук.

В добрый путь, мой читатель! Всегда буду рад услышать твое объективное суждение. И да поможет тебе Бог…

Странный дом

«Есть вещи – очень странные, непонятные, которые едва ль поддаются логической проверке. Эти вещи порой составляют некую тайну, которую никогда не суждено раскрыть человеку…»

Из частного письма

Предисловие

Конец 16 века ознаменовался для Франции событиями, имевшими впоследствии огромное значение, как для развития нации, так и по отношению к веротерпимости, а, точнее, наоборот – нетерпимости к чужим взглядам. Это породило и стычки с гугенотами в 17 веке, и раскол в обществе в конце века 18-го, и наконец – Великую революцию 1789-94 гг. с последующими за ней наполеоновскими войнами, когда Франция была сначала буквально обескровлена, а затем и раздавлена при Ватерлоо армией союзников.

Череда властителей, менявшихся на французском престоле, состояла как из гениальных (вроде Генриха 4-го, Ришелье, Людовика 14-го, Робеспьера, Наполеона), так и из посредственных людей. Но никто из них так и не сумел изменить дух соперничества и братоубийства, господствовавший во Франции с той самой кровавой драмы 1572 года. Варфоломеевская ночь – поворотный пункт французской истории, приказ Карла Девятого убивать собственных подданных такой же варварский акт, как и «взятие» Новгорода царем Иваном Грозным. Нация всегда платит по счетам своих правителей, это логика жизни сообществ людей.

Описываемые ниже события, которые произошли несколько позже злосчастного 1572 года в средневековом Париже, интересуют нас, однако, совершенно другим своим аспектом.

1. Завязка

В это самое время в разгаре была «война трех Генрихов» (действующего короля Генриха Третьего, Беарнца, который вскоре станет Генрихом Четвертым, и герцога Генриха де Гиза). Лигёры чувствовали себя в Париже почти хозяевами, но восстание 1588 года еще не произошло, хотя гугенотам было весьма несладко и без этого. В то время, когда каждый добрый парижанин был озабочен выяснением религиозной принадлежности своего соседа больше, чем содержимым собственной кастрюли, и произошли эти, правдиво описанные здесь события. За их подлинность ручаться столь же трудно, как и за пресловутый *«план крепости»* канцлера Бирага, но читатель должен верить нам, ибо вера это единственное, пожалуй, что на сегодняшний день серьезно отличает еще человека разумного от животного.

Итак, в Париже на весьма известной улице Могильщиков в одном старом, крепко заколоченном доме, давно не имевшем постояльцев, стали происходить странные вещи. После полуночи, когда едва затихал последний удар колокола на Нотр Дам, в доме вдруг начинали раздаваться громкие голоса, слышалось девичье пение, смех и даже ругань. Добрые католики, жившие по соседству, обвиняли во всем «проклятых гугенотов», вооружались и два раза делали попытки проникнуть в дом. Дважды их останавливала ночная стража этого парижского округа, а затем сам начальник стражи, гроза местных мошенников и сводниц, Армон Кобаль решил разобраться в происходящем… В одну из ночей он вместе со своим немногочисленным отрядом, поддерживаемым с улицы толпой несносных бездельников, взломал двери странного дома и проник внутрь… Однако, к явному разочарованию зевак, вместо ожидаемого притона стражники не обнаружили решительно ни одной живой души в комнатах, ни хотя бы одной вразумительной причины тех загадочных звуков, которые раздавались здесь.

Дом состоял из двух этажей, мансарды и глубокого погреба, который также тщательно был исследован, но все без результата. Первый этаж занимали три или четыре комнаты, уставленные мебелью времен Генриха Второго, под влиянием сырости пришедшие в негодность и чудом не развалившиеся. Стены дома были голы, как и подобает стенам давно оставленного дома, кое-где отвалилась штукатурка, были видны деревянные перекрытия. На полу лежал толстый слой пыли, кое-где пересеченный отпечатками кошачьих лапок; более ничего интересного на первом этаже не было. Второй этаж полностью был занят одной

огромной залой, которая, вероятно, служила прежним жильцам и гостиной, и столовой. В центре ее располагался большой обеденный стол, несколько поодаль – пять старых продавленных кресел и некогда роскошный диван с сильно потемневшей от времени и сырости обивкой. Стены были украшены гобеленами, которые кое-где уже отделились и беспомощно качались, не имея силы оторваться полностью. Пыли тут тоже хватало, хотя воздух был намного свежее, чем внизу, очевидно, за счет близости крыши.

Мансарда была куда интересней: как попало, сваленная рухлядь перемежалась деревянными ящиками, наполненными весьма любопытными вещицами, о назначении которых даже сам Кобаль не мог сказать ничего определенного, и старыми холстами, количество коих говорило о направлении интересов прежнего хозяина дома. Впрочем, весьма трудно было сказать о качестве этих картин – некоторые из них совсем выцвели и потемнели, другие не произвели большого впечатления на умудренных стражников. Таково было все небогатое содержимое странного дома. После обыска таинственные голоса не раздавались в доме с неделю, а затем возобновились с новой силою. Местный житель Анри Дейе, не убоявшись свернуть себе шею, забрался на крышу и попытался заглянуть внутрь дома через окно мансарды, но ничего интересного не увидел. Вызванный жителями Кобаль еще раз осмотрел дом и, не найдя никаких изменений, заметил, что за следующий вызов он сдерет с беспокойных соседей по золотому экю, а тот, кто ему не заплатит, будет лишен своей шкуры… Зная немирный нрав королевских охранников, жители, проживавшие вблизи проклятого дома, несколько угомонились.

Некий Блатье наговорил всем про Кобаля, что тот знается с протестантами и прикрывает их сборища в доме, а потому ничего не хочет делать. Слухи бродили по округу с неделю, но все закончилось миром: Кобаль помирился с лигёрами и сказал, что после короля вторым человеком в Париже для него является герцог де Гиз. Болтливый Блатье не менее таинственно исчез, уйдя днем навестить своего родственника, жившего в Сен-Дени, и больше не явившись… Ну а добропорядочные парижане свыклись с говорящим по ночам домом и не строили более никаких грозных планов на его счет.

Прежде дом принадлежал небогатому, но знатному шевалье де М…, тот бывал в Париже больше по делам и редко останавливался здесь больше чем на две недели. За домом присматривал его человечек, которого соседи почти не запомнили, так как он редко показывался на общих сборищах.

Соседи искренне подозревали в нем лютеранина, но до августа 1572-го это еще не было преступлением. Месяца за два до знаменитого события де` М… скончался в своем поместье и не смог прибыть на свадьбу Генриха Наваррского и Маргариты Валуа. События Варфоломеевской ночи стерли из памяти соседей таинственное исчезновение слуги шевалье; говорили, что видели его труп, который грузили на повозку после кровавой бойни, но вообще-то тогда многое видели… Одним словом, не дождавшись появления законного наследника, городские власти совсем уж было вознамерились объявить дом муниципальной собственностью, но… Один очень влиятельный человек сообщил в городскую магистратуру о неоспоримых правах на данный дом, чиновники получили свое, и дом перешел в собственность весьма знатной особе.

Особа осмотрела дом достаточно внимательно, но нашла наилучший, очевидно, вариант жительства: дом заколотили досками и заперли на крепкий замок. Именно с тех пор странный дом и стал причиной головной боли соседей, чьи домишки были рядом, и ночной стражи округа. Так прошло несколько лет, произошло много событий: умер Карл Девятый, Беарнец на время вернулся в Наварру, Гизы плели сети против короля, неожиданно скончался во цвете лет Франсуа Анжуйский. Голоса в странном доме раздавались, мещане трусливо вздрагивали в своих теплых постелях, а парижские власти, как им и положено, бездействовали. *Telle est la vie*!

2. Генрих Мерсье

Генрих Мерсье, барон де Г., высокий худой человек лет сорока, с зелеными кошачьими глазами и короткой эспаньолкой, проснулся после короткого сна и нехотя потянулся в старинных креслах. Было пять часов пополудни серого ноябрьского дня 158… года. Барон быстро встал и подошел к окну: уже стемнело, и торговцы с лотков спешили свернуть свою нехитрую торговлю, строительные рабочие возвращались домой, где-то слышался голос паписта, призывавшего честных католиков вступать в Священную Лигу. Генрих зевнул и неторопливо прошелся по комнате. Уже довольно длительное время он почти не выходил из дому, иначе как по необходимости. Жизнь представлялась ему мрачным обрядом, который следовало прекратить, как можно скорее.

Войдя в следующую комнату, которая служила ему библиотекой, барон подошел к полкам, густо уставленным старинными фолиантами, и провел рукой по книгам. Он давно уже не читал, так как помнил многие книги на память; ему было достаточно припомнить обложку книги, и все страницы, одна за другой, проходили в его сознании. В последнее время барону очень часто приходилось смотреть манускрипт, который и занимал все его воображение. Черная кошка подошла к ногам своего хозяина и важно потерлась о них, барон нагнулся, чтобы погладить, но она убежала. Мерсье вздохнул и вернулся в залу. Набив табаком трубку, он закурил и вновь задумался. *«Мне кажется, что я еще никогда не был так близок к разгадке… Какие-то смутные знаки… Не пойдя туда, ничего не узнаешь! Как это сделать?* – размышлял барон. – Мой *Джоб, конечно, найдет его, это не трудно, но захочет ли тот пойти? А главное – сможет ли взять э т о*?»

Через час входная дверь заскрипела, послышался звонкий голос пришедшего слуги: «Мсье, вы уже дома?». И двадцатишестилетний Джоб Морелли, уроженец Флоренции, буквально впорхнул в комнату, где сидел барон, с корзиной закупленных припасов. «Спорю на пистоль, господин, что Вы не выходили из дому все это время?». Мерсье повернул голову на слова слуги, кивнул, но ничего не ответил. Решив, что хозяину не до него, Джоб отчитался о произведенных затратах и попросил разрешения идти готовить обед. Барон важно кивнул, и слуга-итальянец деловито удалился.

…Когда ужин был закончен, барон де Г. пригласил слугу к себе и вкрадчиво спросил его:

– Так ты выяснил, где живет этот человек?

– Месье Марк работает в лавке Плутовье у самых ворот Сен-Дени, там будет проще всего встретить его.

– А его самого ты видел?

– Видел, мсье! Я даже кое-что купил у него сегодня, – улыбнулся Джоб, показывая, что на него можно всецело рассчитывать.

– И что же? Как он? – барон явно волновался. – Я имею в виду внешность Марка.

– Внешность? – итальянец задумался и даже пододвинул свечу, словно ее тусклый свет мог напомнить ему лицо Марка. – Самая обыкновенная: он высок, нескладен, похож на людей его нации, на вид ему лет двадцать или чуть больше. Да, мсье, еще говорят, что он незаконный сын богатого флорентийского купца, недавно умершего.

– Вероятно, это он, – сказал Мерсье. – Как можно быстрее тебе нужно сойтись с ним поближе! Ясно?

– Это потребует некоторых расходов, хозяин, – заметил Джоб и погладил свой животик, весьма объемный для его лет. – А Вы платите мне…

– Понятно! – барон остановил его жестом. – Тебе будет дано тридцать, даже сорок экю, постарайся их правильно использовать.

– Этого нам вполне хватит!

– Марк будет нужен мне здесь, нужен – к середине декабря…

– Все будет сделано, хозяин! – заверил его Джоб.

– Что же, тогда хорошо… – Мерсье налил себе вина и выпил почти полный бокал.

Джоб осведомился, может ли он уйти. Не получив четкого ответа, он решил, что получил ответ положительный, и удалился к себе. Барон де Г. просидел в креслах до полуночи, очевидно, что-то обдумывая и сопоставляя. Опустившаяся ноябрьская ночь совершенно скрыла от нас эту картину.

3. Марк

Марк Рапок не принадлежал к числу богатых парижан недворянского происхождения, и даже люди со средним достатком глядели на него с презрением… Хотя Марк был ни много ни мало единственным сыном знаменитого торговца тканями Баруха Рапока, основавшего свое дело еще в 1538 году и умершего незадолго до описываемых здесь событий. Флорентинец по происхождению, Рапок так же отличался в делах торговых, как и слыл неудачником в делах амурных. Первая его жена, красавица Дезире, сбежала от своего богатого, но скучного мужа с каким-то рейтаром, прихватив на память десяток лучших драгоценных камней мсье Баруха. Это обстоятельство так сильно подействовало на торговца, что он не хотел жениться долгих двадцать лет, несмотря на настойчивые уговоры своих собратьев по вере.

Наконец, опасность остаться без наследника пересилила стыд, который он до сих пор ощущал, и Барух женился на католичке, но уже не столь молодой даме из обедневшего дворянского рода. Брак также не был удачным, но принес единственное утешение в лице сына, которого окрестили в Соборе Парижской богоматери и которого Барух назвал в честь известного евангелиста. Торговец надеялся, что перемена веры пойдет на пользу и наследнику, и всему его делу. Однако жизнь сильно изменила его добрые планы. Рано оставшись без матери и пользуясь благорасположением отца, который к тому же часто уезжал из Парижа по торговым делам, Марк рос в атмосфере потворства, как его добрым начинаниям, так и низменным, кои в нем преобладали. Вокруг него с детства вились люди, которые, стремясь добиться расположения мсье Баруха, задабривали Марка подарками и всячески его превозносили. Успехи, которые он показывал в овладении некоторыми науками, были достаточно скромны, но клиенты отца раздували их до небес.

Созрев физически, Марк проявил интерес к окружавшим его служанкам, но добрые приятели тут же подсунули ему опытную в подобных делах женщину, которая тянула с него деньги и подарки за свои нехитрые услуги. Втянув Марка в одну грязную историю в кабачке на улице Феру, приятели убедили его сесть за карточный стол, чтобы расплатиться. Опытные шулера вмиг очистили карманы Марка, к тому же он проиграл еще в долг около пятисот пистолей. Взбешенный крупным проигрышем, Рапок-старший отослал сына на несколько месяцев к родственникам в Италию. Однако, вернувшись, Марк снова попал

в объятия «добрых друзей» и потасканных куртизанок. Все это закончилось однажды весьма печально.

В один из вечеров Барух призвал сына к себе и объявил ему, что, если Марк всерьез не займется его делом, делом торговли, то он, Барух Рапок, клянется Всевышним лишить его наследства и всяческой отцовской помощи! Марк довольно нагло заметил, что с помощью своих влиятельных друзей он в любом случае получит свою долю! Барух в порыве гнева проклял сына и прогнал его вон. На беду Марка в это время у них в доме гостил один из родственников по имени Биньямин, и тот быстро уразумел выгоду такого положения. У Баруха, кроме Марка, не было детей, зато были многочисленные племянники – дети трех его братьев. Биньямин уговорил старого Баруха примерно поучить Марка и составить завещание, по которому все его богатство переходило к этим родичам. Смиренный прежде, Рапок, не помня себя от гнева, завещание составил, надеясь хотя бы этим образумить сына. Но сие обстоятельство только раззадорило Марка и его гнусных приятелей: произошел скандал, после которого примирение между отцом и сыном стало почти невозможным…

Клиенты Баруха немедля приняли его сторону, и тот щедрый кредит, которым Марк пользовался прежде у лавочников и кабатчиков, был закончен. Почувствовав это, «добрые приятели» Марка потихоньку стали избегать его. А когда деньги отца, бывшие у Марка, кончились вовсе, он впервые понял, что такое нужда и одиночество. Возможно, Барух и принял бы своего блудного сына и извинил бы его молодость, но тут пришла Она, самая могущественная, самая непреклонная, самая… словом, Барух Рапок умер. Все его лавки, ткани, нажитые драгоценности и деньги разошлись по его многочисленной еврейской родне, заполонившей собою весь мир, как выразился бы арабский историк. Марк Рапок, в свои двадцать лет привыкший к деньгам и почету, мигом остался ни с чем.

Добрые родственники, похоронив Баруха, оставили Марку лишь старый отцовский дом с кое-какой мебелью, немного денег да самые худшие ткани для собственных начинаний. Марк несколько оторопел… Жизнь и людские страсти впервые обратились против него, к чему он не был подготовлен. Он, правда, смутно помнил события том августовской ночи 1572 года, когда он был еще ребенком, те крики о помощи убиваемых на улице людей, ту суету в доме и тот страх, который охватил тогда весь квартал… Но тогда рядом находился его отец, заблаговременно откупившийся от погрома, были с ним и верные слуги, вооруженные аркебузами… Теперь же он был совсем один, к тому же презираемый и всеми покинутый. Марк оказался

никудышным торговцем, он по дешёвке спустил оставленные ему ткани, продал отцовский дом за сущий бесценок и вскоре оказался в Париже совсем без гроша.

Лишь один из старых друзей его отца некий Жан Плутовье, за глаза прозываемый меж купцами Жаном В…ком, держатель трех лавок, предложил Марку настоящую помощь. Он дал ему место приказчика в самой скромной из своих лавок у ворот Сен-Дени, где покупателями были обычно небогатые люди. Рапок попробовал было и здесь ставить свои условия, но Плутовье лишь ласково потрепал его по плечу и на ушко сказал: «Еще одно непочтительное слово, и вон – на улицу! Говорят, нищие на паперти хорошо собирают?». Марк смирился и стал заниматься именно тем занятием, которое прежде так презирал. Рапок с трудом привыкал к своей новой скучной жизни: с раннего утра он уже шел на работу в лавку, раскладывал товары, сверялся с ценами, просматривал задолженности клиентов. Весь день он работал, не покладая рук, а вечером, сдав выручку хозяину или его законному сыну, сворачивал товары, проверял счета и, наконец, возвращался домой. Денег, которые платил ему новый хозяин, едва покрывали расходы на жилье и еду. Даже бутылку вина он не каждую неделю мог себе позволить… Марк часто гулял по тем местам Парижа, где он помнил себя богатым и известным. Иногда он встречал своих прежний знакомых и тех, кто называл себя его друзьями, но они в упор не узнавали Марка или не хотели видеть его. Прежних нарядных куртизанок заменила ему теперь дочь бедной лавочницы, которая за умеренную плату позволяла приказчику ласкать ее и даже погружаться в свое вместительное, хотя и дурно пахнущее лоно. Что было делать? Рапок не знал и не хотел даже думать о будущем.

Как-то Марк познакомился с одним славным парнем по имени Джоб, тот представился уроженцем Флоренции, и они разговорились. Молодым людям вообще свойственно быстро находить приятность в совместных попойках. Два похода по злачным местам, когда Джоб широким жестом швырял налево и направо золотые экю, сделали Марка и Джоба закадычными приятелями. К тому же оба они были католики, но оба не приветствовали поползновений лигеров Генриха де Гиза на высшую власть в стране. Это еще больше сблизило их. Теперь часто в конце недели Джоб заходил к Марку в лавку, помогал ему сложить товар, и они шли веселиться или прогуливались по Торговой галерее, задевая разряженных мещаночек и симпатичных субреток. Один раз они даже нарвались на пьяного мушкетера, и Марк едва не отведал острия его шпаги за

неудачную остроту. Шустрый Джоб, однако, сумел приголубить пьяницу поленом, и приятели в тот раз дешево отделались.

В середине декабря Джоб достаточно неожиданно пригласил Марка отобедать у него. До этого они иногда собирались в комнатушке Рапока, но ни разу Джоб не осмеливался пригласить торговца к себе, ссылаясь на строгие правила хозяина. Теперь же Морелли объяснил Марку, что его хозяин уезжает на пару дней, и они могут провести нескучный вечер в его шикарном доме на улице Могильщиков. Марк, не будучи человеком рассудительным, сразу поверил новообретенному другу, и они договорились на семнадцатое число.

Генрих Мерсье был весьма доволен своим расторопным слугой.

4. Загадка картины

В этот год зима в Париже выдалась довольно суровой, хотя иногда случались и оттепели. Генрих Мерсье довольно быстро шел к дому на улице Могильщиков, так как от той улицы, где он жил, до этого района города было приличное расстояние. Почти никто не попадался ему навстречу, так как совсем недавно часы на башне пробили одиннадцать ночи… Идти было все же приятно: снег хрустел под ногами, фонари освещали центральные улицы довольно скупо, придавая им таинственный вид. До назначенного времени, когда Мерсье должен был встретиться с Джобом и Марком у странного дома, оставалось минут двадцать. Чтобы не ждать долго перед домом, барон замедлил шаги. Он вновь задумался о предстоящем деле: «Маркус! Его имя было в гороскопе… Только он может взять ее, только он… Что же, надеемся на удачу!». Оставалось немного.

Барон совсем остановился. Перед ним – начало улицы Старой голубятни, место не слишком безопасное для ночных прогулок. На противоположной стороне улицы за бароном уже давно следили две пары острых глаз… Злые языки говорили, что сами дворяне, проживавшие здесь, поистратившись в кабаках, иногда не прочь были присвоить себе чужой кошелек или богатую одежду зазевавшегося прохожего. И хотя это очень было похоже на грязные сплетни лакеев, такое мнение было весьма распространено среди парижан в те давние годы. Итак, как мы уже заметили, две пары острых глаз следили за бароном де Г…, а он и не думал об опасности.

Когда Мерсье, одетый в дорогой теплый камзол и длинный плащ, наконец приблизился к переулку, позволявшему сократить путь до дома на улице Могильщиков, его остановили. Невысокий человек в низко надвинутой шляпе подошел и вежливо осведомился у барона, куда он следует. Мерсье, не давая себе труда отвечать, попробовал продолжить свой путь, но человечек грубо схватил его за плечо. Тогда Мерсье, не вдаваясь в объяснения, отскочил в сторону и обнажил свою внушительных размеров шпагу. Человечек что-то крикнул и также отскочил. Лишь чудо и реакция Мерсье, закаленного в сражениях, спасли ему жизнь. Он, понимая, что выстрел неизбежен, упал на землю, и пуля расплющилась о стену дома, возле которого он только что стоял. Не медля ни минуты, барон подскочил к низенькому человеку, лихорадочно возившемуся с пистолетом, и, сделав выпад, проткнул его насквозь.

Второй вор, видя конец приятеля, не стал тратить время на

аркебузу, из которой он выстрелил, и выхватил короткую шпагу. Мерсье бросился на него, больше опасаясь за исход дела, намеченного им, чем за свою жизнь. Но и вор, очевидно, неплохо владел этим оружием: убить его сразу барон не смог. Два быстрых выпада незнакомец отбил как заправский дуэлянт. Завязалась настоящая битва… Все выпады Мерсье незнакомец парировал, а вскоре и сам стал теснить барона к темному переулку. Тогда Генрих, не прекращая фехтовать, левой рукой осторожно расстегнул ножны с кинжалом и, когда вор немного замешкался, выхватил его. Очевидно, незнакомец понял его намерения, что-то негодующе прокричал, но было уже поздно. Мерсье метнул кинжал и, когда вор попытался отбить его шпагой, сделал длинный выпад и поразил противника точно в сердце. Незнакомец, обливаясь кровью, свалился замертво. Барон быстро подошел к нападавшему, содрал маску и вгляделся в лицо нападавшего: оно почему-то показалось ему знакомым. Но вспоминать, кто перед ним, не было времени.

Барон вытер шагу о плащ убитого, поднял кинжал и вернулся к первому из воров. Тот, очевидно, не был сражен бароном наповал, громко дышал и даже постанывал. Видя, что вор без сознания, Мерсье оттащил его в темный переулок, куда позже перенес и труп второго нападавшего. Затем, убедившись, что обнаружить их здесь смогут только утром, Мерсье продолжил свой путь, так как времени до встречи с Марком оставалось немного.

На улице Могильщиков полночь и тишина. Барон де Г…, не спеша прогуливался возле дома, ожидая своего слугу и Марка Рапока. Они несколько опаздывали, и это очень раздражало пунктуального Мерсье. Было холодно, а случай с ворами напомнил о том, что и небезопасно. К тому же Мерсье опасался, что хитроумный торговец что-нибудь заподозрит и пойдет ночью сюда. Наконец послышались шаги на противоположном конце улицы, барон отошел в тень и замер, слившись с тенью.

– Так, где же ваш дом? – своеобразные интонации голоса Марка говорил о том, что друзья перед приходом сюда порядочно нагрузились. – Ну где же он, я тебя спрашиваю…

– Сейчас увидишь… Где же, где ж он? – Джоб озирался по сторонам, так как до этого бывал здесь только днем и теперь боялся ошибиться в темноте.

– Ты что же не знаешь, где живешь? – Марк, несмотря на хмель, стал проявлять беспокойство. Какое-то чувство говорило ему, что являться сюда вовсе не следовало, и теперь он жалел, что послушался своего недавнего знакомца.

– Да не кричи ты, осел! – ругнулся итальянец. – Хозяин не

велел…

– Разве твой хозяин дома? Да ведь ты говорил… – Марк похолодел и остановился в двадцати шагах от странного дома. – Ты ведь говорил, что он уехал надол… Что мы можем попробовать знатный херес…

– Доброй ночи, друзья! – барон быстро вышел из своего укрытия, чем изрядно перепугал обоих.

– Доброй ночи, хозяин! – приветствовал его слуга, на всякий случай прихватив Марка за рукав плаща.

– Здрасте, – пролепетал и Марк, сквозь хмель осознавший, что попал в какую-то весьма неприятную ситуацию.

– Ничего плохого мы вам не сделаем, мсье Рапок, – твердо сказал барон. – Я попрошу вас всего об одной услуге.

– Услуге? Ну уж нет, – взревел напуганный Марк, плохо понимая, однако, что же ему делать. Барон развел руки.

– Если Вы откажетесь, любезный, я буду вынужден убить Вас прямо здесь и сейчас!

– Но, мсье, я ведь… – Рапок от страха чуть не сложился пополам. Он заметил длинную шпагу Мерсье, да и Джоб за спиной таил в себе не меньшую угрозу. – Что плохого я, несчастный еврей, мог Вам сделать?

– Не бойтесь, Марк! – тихо сказал Джоб. – Дело в том, что нужно зайти в этот дом и просто кое-что взять там. Только и всего!

– Но что же? – Рапок немного стал приходить в себя и понимать, что убивать его, как будто, никто не собирается.

– Прохладно стало. Зайдем, пожалуй, в дом, – Мерсье приблизился к друзьям и кивнул Джобу. Тот, крепко взяв Марка сзади за локти, сильно подтолкнул его к странному дому.

Сопротивляться не было возможности, и Марк покорился неизбежному. Барон быстро открыл двери своим ключом и снял доски, которые едва держались на дверях. По слою пыли на полу Рапок вмиг понял, что дом необитаем, и решил, что его нагло используют для кражи. Он резко оттолкнул Джоба, крикнул и даже сделал попытку бежать… Но ноги не слушались подвыпившего Марка, скоро он был настигнут, получил от Джоба два хороших пинка в бок и волоком был водворен в дом. Двери барон быстро захлопнул, и герои очутились в пустом и темном помещении.

Мерсье достал свечи и вставил их в подсвечники, которые как будто специально стояли на тумбочке у входной двери. Нижний этаж дома осветился тусклым светом.

– Ты напрасно пробовал убежать, Марк! – Мерсье был на редкость собран и суров. – Впрочем, ты иудей, не так ли?

– Я с рождения католик, милорд… – нехотя промямлил Рапок.

– Впрочем, это напрямую не относится к делу…

– Успокойся, Марк! – подбодрил его Джоб. – Я никогда не привел бы тебя сюда, если б думал…

– Заткнись, предатель! – с перекошенным лицом обернулся к Морелли его бывший собутыльник.

– Пойдем, – и барон со свечой направился вглубь дома. Марк, подталкиваемый сзади Джобом, нехотя следовал за Мерсье. Часы на башне мерно пробили полпервого ночи.

Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж дома, барон де Г. в некотором сомнении остановился. Замерли и Марк с Джобом.

– Дальше, *Марк,* ты пойдешь один.

– Однако, милорд! – Марк побледнел. – Я совсем не знаю этого места…И почему нужно это «что-то» брать именно ночью, а не завтра утром?

– Именно сегодня и сейчас это проще всего сделать! – задумчиво протянул Мерсье. – Ни я, ни мой слуга не сможем сделать это.

– Но почему же ночью? – продолжал гнусить Марк.

– Ты поднимешься по лестнице, – продолжил барон, не ответив на реплику. – Там будет большая зала; проходя по ней, ты можешь …что-то увидеть! Не придавай этому никакого значения – это лишь призраки, тени прошлого. В конце залы будет лестница наверх, ты поднимешься по ней и… – Мерсье впал в задумчивость. – Помни, что в доме сейчас только три живых существа, это мы! Не поддавайся страху, иначе погибнешь.

– Погибну, милорд? – Марк бессильно опустился на пол возле барона. Джоб помог ему встать, хотя и у него стали возникать сомнения.

– Итак, Марк, на чердаке ты увидишь несколько ящиков. Выбери тот из них, на котором нарисован этот крест, – Мерсье вытащил лист бумаги и показал его Рапоку. – Ты откроешь найденный ящик и достанешь из него картину. Это старый холст, на нем изображена одна знатная инфанта… Впрочем, в ящике только это и будет. Понятно? Ступай же…

– Ступать, милорд? Куда? И зачем мне все это надо, – Марка прямо трясло от страха. Мерсье стал раздражаться:

– За все дело, ублюдок, ты получишь от меня восемьдесят, даже сто пистолей!

– Нет, мсье! Я решил, что я никуда не пойду, – сказал Рапок и попытался снова сесть на пол.

– Что ж, тогда здесь останутся только д в о е! – вскричал разгневанный барон и, выхватив шпагу, приставил ее острие к

горлу Рапока.

– Ах, осторожней! – Рапок отскочил назад и что-то опрокинул. – Я иду, милорд, иду… Однако, как же там я пройду, без света?

– Там будет светло! – улыбнувшись, заметил Мерсье. От этого замечания волосы на голове Рапока зашевелились. – Иди же, Марк! Мы с нетерпением будем ждать…

– Иди! за такую нехитрую работенку аж восемьсот ливров! – подключился и Джоб, страстно желавший оказаться теперь как можно дальше отсюда.

– Сто пистолей? – вдруг вымолвил Рапок, поглядев на барона.

– Сто, – барон строго посмотрел на торгаша. – Тебе уже было сказано! Иди и сделай все, как нужно!

Вздыхая и часто крестясь, Рапок полез наверх, поминутно останавливаясь и глядя вниз. Вскоре он скрылся из виду. Джоб присел на какую-то тумбу, стоявшую подле, Мерсье, сильно переживая, застыл неподвижно. Часы на городской башне пробили только один раз. Попав на второй этаж странного дома, Марк огляделся. Его глаза уже несколько привыкли к темноте, и он различил в глубине залы огромный обеденный стол ее стоящими рядом высокими старинными креслами.

Решив, что это не столь уж страшное зрелище, Рапок сделал несколько шагов по направлению к лестнице на мансарду, видневшейся в конце залы. И вдруг, о ужас! Марк ясно увидел в темноте сидящего за столом человека, который, казалось, только что очнулся от сна и с изумлением смотрел на приближавшегося человека. Марк в ужасе остановился и сделал глубокий поклон, проклиная на чем свет стоит завравшегося барона. Человек же, казалось, без особой причины стал раздражаться, кричать… и вот он уже стоит во весь свой огромный рост и вот-вот обрушится на незваного гостя! Рапок отскочил к стене и в ужасе зажмурился…

Прошло несколько минут, тишина дома ничем не нарушалась. Марк осмелел и открыл глаза. Никакого человека не было, но не было ни стола, ни стульев, ни самого дома… Вместо этого Рапок узрел небольшое озеро в нескольких шагах от себя. Он ясно видел сверкание каких-то маячков на нем, слышал плеск воды и шуршание камышей. Потянуло сыростью, подул легкий ветерок… Рапок решил, что сходит с ума, и вновь зажмурился. Когда он открыл глаза, видение не пропало, но дополнилось новыми деталями. Яркие молнии озарили противоположный берег, и Марк различил на нем какое-то мельтешение. Он не был точно уверен, но ему показалось, что он заметил бегающих по берегу обнаженных людей и еще что-то… И вдруг от берега отделились две огромные фигуры и быстро заскользили по воде в

направлении Марка. Они приближались стремительно, и Рапок с ужасом узрел, что это зелено-рыжие драконы, раскрывшие свои окровавленные пасти с огромными белыми зубами. Казалось, что они только что закончили страшный ужин и еще не успели облизаться, как следует. Рапок заорал и бросился бежать, но больно ударился о стену и, взвизгнув, свалился на пол.

Когда он очнулся, тишина в доме нарушалась лишь покашливанием Мерсье, которое доносилось откуда-то снизу. Марк приподнялся и увидел, что находится в двух шагах от лестницы, ведущей с первого этажа на второй. Между тем часы пробили то ли полвторого, то ли два часа ночи, нужно было спешить… Рассчитав расстояние до противоположного конца залы, Марк зажмурился и кинулся бежать. Когда он мчался, он слышал завывания ветра, крики о пощаде и женские призывные голоса, но он не остановился, пока не ударился о стену… Оглядевшись, он убедился, что почти достиг своей цели. Прямо перед ним была винтовая лестница, ведущая на мансарду. Оглядевшись, насколько было возможно, Рапок полез наверх.

Мансарда, безусловно, была самой замечательной комнатой странного дома. Свет, просочившийся неизвестно откуда, заливал ее со всех сторон. По стенам висели прекрасные картины: казалось, все мастера прошлого устроили здесь свою небывалую выставку… В центре комнаты стоял мольберт с незавершенной картиной и разбросанными рядом кистями и красками. Рядом располагался богато сервированный стол на две персоны, которые, казалось, только что оставили свою трапезу… Пол был застелен дорогими коврами. Марк поразился, как все это может находиться внутри необитаемого дома? Какие-то сомнения, воспоминания о слышанных им неприятных историях вновь полезли ему в голову. Наконец, Марк вспомнил о цели своего визита и заторопился. Несколько ящиков стояли в самом дальнем углу комнаты, он направился к ним, попутно разглядывая картины.

На одной из них был изображен сухой желчный старик с пронзительным взором карих глаз. Марк встретился с ним глазами и остолбенел; глаза на портрете смотрели вполне осмысленно и жили независимо от холста. Чтобы избавиться от этого ощущения, Рапок посмотрел на соседнюю картину. Прекрасная дама лет двадцати глядела на него оттуда, она была прекрасно сложена, по одежде ее можно было принять за даму самого высшего света. Ее голубые с поволокой глаза смотрели, хотя и упрямо, но довольно нежно. Марк дошел до ящиков и глянул на картину, висевшую над ними. Это было зрелище Страшного суда: казнь грешников была выписана так натурально,

что бедный еврей поспешил отвести свой взор.

Рассмотрев ящики, Марк быстро отличил нужный ему: на ящике был огромный красный крест, концы которого продолжались далее под прямым углом. Рапок припомнил, что он уже где-то видел его раньше. На каких-то индийских товарах или… Впрочем, размышлять было особенно некогда. Марк с трудом стал поднимать крышку этого ящика. Она показалась ему поначалу неимоверно тяжелой, и Рапок решил просто сдвинуть ее набок. После многочисленных попыток он сумел-таки подвинуть крышку, которая вдруг с грохотом сама свалилась на пол. Рапок заглянул внутрь…

Дикий крик Марка барон де Г. и его слуга слышали очень хорошо. Джоб хотел подняться и даже сделал несколько шагов к лестнице, но Мерсье остановил его:

– Мы ничем не поможем ему, Джоб. Подождем еще немного!

– Но, господин, возможно…

– Он должен справиться сам, – заметил барон. – Будем ждать.

– Что ж, будем ждать… – Джоб махнул рукою и уселся на тумбу.

Через десять минут взорам наших героев предстал сам Рапок, совершенно бледный и с блуждающими глазами. В руке он крепко сжимал свернутый холст. Взглянув на барона, Марк, не медля ни минуты, счел нужным свалиться с лестницы замертво… Когда торговца привели в чувство с помощью нюхательной соли, которую Мерсье всегда носил с собой, тот встал и, с открытой ненавистью глянув на барона, прошипел только одно слово: «Деньги!».

– Сначала я должен убедиться, что эта та самая картина, – Мерсье протянул к холсту руку.

– Деньги! – упорствовал Рапок.

– Половину! – Мерсье отсчитал пятьдесят пистолей и через Джоба передал их Марку. Тот немедленно отдал холст барону.

Мерсье взглянул на холст и, нахмурившись, быстро спрятал его к себе под камзол. Посмотрев на изможденного Марка, барон скривился и произнес: «Все верно! Получи остальное». Вторая порция награды также была передана по назначению, Джоб попутно отметил, что руки Рапока, принимавшие пистоли, сильно дрожали. Затем все, не оглядываясь, быстро выбрались из дома, и барон замкнул дверь. На улице Мерсье увидел, что Марк сильно шатается и едва ли может идти. Он приказал своему слуге проводить торговца до дома, и, как ни был раздражен и напуган Рапок, он не отказался от провожатого. После пережитого он был готов поделиться всем этим хотя бы и с Морелли, так как больше во всем Париже у него не было близкого человека. Вдвоем

бывшие приятели дошли до конца улицы Могильщиков, и пропали из глаз.

Генрих Мерсье отправился домой другой дорогой, сжимая левой рукой эфес шпаги, а правой – с таким трудом добытую картину.

5. Княгиня дель Пьомбо

Было около пяти часов утра январского дня 158… года, когда Генрих Мерсье проснулся в своих креслах и нехотя поднял голову. От вчерашнего разговора с его бывшим приятелем маркизом де Обросьи у него остались самые скверные воспоминания. Маркиз настаивал на участии барона в очередной кампании Беарнца, а Мерсье всячески уклонялся от этой тематики. Его ум и чувства занимал последний месяц совсем иной мир, но объяснить это материалисту де Обросьи было попросту невозможно. Маркиз принял нежелание Мерсье участвовать в очередной драке за власть как трусость и едва не высказал ему это в глаза. Генрих понял, куда клонится разговор, и поспешил выпроводить своего неприятного посетителя. Теперь он размышлял, какие последствия могут из всего этого произойти.

Какой-то шорох в комнате совершенно изменил течение его мысли. Он торопливо зажег свечу и посмотрел на стену, где висело полотно в золоченых рамах, закрытое от чужих взоров тканью. Мерсье подошел к нему и снял ткань… Прелестное существо – девочка лет четырнадцати или пятнадцати с твердым взглядом синеватых глаз, черноволосая, с резкой складкой, пересекавшей чудесной белизны лоб – смотрело на Мерсье с полотна. Она была одета по моде конца XY века, ее платье напоминало одеяния италийских княгинь того времени. В одной руке девочка держала какую-то книгу, другой – опиралась на столик чудесной венецианской работы. Возле ее ног сидела черная кошка с белым галстучной и также внимательно смотрела на потенциального зрителя. Задний план представлял собой убранство дворцовой комнаты.

Барон еще раз внимательно осмотрел портрет и вернулся к креслам. Целый год он ждал этой минуты, целый год – сразу же после прочтения завещания своего деда. И вот теперь? Он не только не чувствует себя счастливым, но, напротив, многое бы отдал, чтобы вернуть дни ожидания. Он набил трубку и закурил. Догоравшая свеча подсказывала, что стоит зажечь новую, но Генрих не торопился этого делать. Он забылся… Прошло несколько минут, а, может, несколько часов. Барон с трудом открыл глаза и в ужасе пошарил рукой на столе: он испугался, что, спящий, выронил трубку с подожженным табаком. На его удивление трубка была аккуратно положена на стол и не дымила. Мерсье встал, чтобы закрыть портрет, но – рамка портрета была совершенно пуста! Генрих решил, что плохо закрепил полотно, но

увидел: фон на картине остался неизменным, столик тоже был на месте, а центральная фигура пропала.

Пропала совсем… Возле ног барона появилась черная кошка, он наклонился, чтобы погладить ее, но тотчас отдернул руку! Это была не ЕГО кошка… Понимая, что он может увидеть сейчас, Мерсье замер. Из библиотеки донеслось чье-то сдержанное покашливание. Это не мог быть Джоб, он отпросился у барона на сутки и должен был появиться не раньше утра. Да и войти в дом он бы не смог, дверь была на засове. Мерсье уже догадался, кто мог кашлять в комнате, но не решался пройти туда. «Значит, все правда… В завещании – правда…» – подумал он и вытер выступивший у него на лбу холодный пот. Покашливание повторилось, барону почудилось даже, что он различил негромкий смех из библиотеки. Медлить не имело смысла: Мерсье переступил порог.

Девочка из портрета сидела за столом и перелистывала какой-то старый фолиант, кошка находилась у ее ног. Барон остановился, внимательно разглядывая оживший портрет, и кашлянул в свою очередь.

– Вы не ошиблись, сударь, в выборе средства… И вот я здесь, – сказала девочка, улыбнувшись.

– Вы здесь… – подавленно пробормотал барон.

– Да это я! – ответил призрак. – Что вы, сударь, хотите сказать мне?

– Разве Вы не знаете, ваше высочество? – Мерсье приблизился к той, кого он произвел в этот сан.

– Моя смерть не позволила мне проникнуть в тайну Проклятия вашего рода, но Вы, очевидно, можете прояснить мне все это! – княжна произнесла это с чувством нескрываемого презрения.

– О, Ваше высочество, эта тайна была завещана мне моим дедом, узнал я ее лишь после смерти отца пять лет назад. Можете ли Вы презирать меня, последнего представителя нашего рода, за преступления предков?!

– Я не говорила о презрении, барон, – девочка встала и прошла по комнате, как бы разминая уставшие от долгого стояния ноги. – Но Вы должны знать, что проклятие тяготеет над проклятым родом до седьмого колена. Или до его искупления…

– Я был женат, сударыня, – Мерсье, несмотря на священный трепет, нашел нужным приблизиться к призраку. – Моя жена умерла в весьма раннем возрасте. У меня были дети, они все погибли при странных обстоятельствах… После этого я принял участие в нескольких дуэлях и весьма кровопролитных битвах, но не получил и царапины. Желая умереть, я не могу этого сделать!

Разве я недостаточно искупил вину предка?

– Мне трудно слушать вас, я не понимаю! – и девочка протянула руку по направлению к Мерсье. Барон похолодел, вспомнив, что говорит с призраком, тело которого сгнило много лет назад. Но он тихо пожал руку и убедился, что она похожа на руку живого существа.

– Я должен объясниться, княгиня дель' Пьомбо, это потребует немного времени, – и Мерсье жестом пригласил княгиню присесть.

– Я внимательно слушаю, – ответила девочка, Мерсье начал.

– Мой прадед Арно Мерсье был человеком скорее энергичным, чем умным. Он начал карьеру священника, но вскоре вынужден был оставить ее из-за громкого скандала… Тогда он, видя, как Анна-де-Боже умело расправляется со своими врагами, поступил в армию Ла Тремуля и принял участие в нескольких битвах, снискав себе славу смелого воина. В августе 1494 года он был в числе тех воинов, кто шел завоевывать Неаполь для короля Карла. Вы, вероятно, помните, как французский король без единого выстрела занял Неаполитанское королевство, а итальянцы встречали его с восторгом, казня своих угнетателей… Однако в ноябре папа Александр Шестой сумел сколотить военный блок против Карла, и Венеция, Англия, Австрия и Испания выступили против нашего короля. Герцог Монпансье был назначен вице-королем Неаполе, а Карл поспешил к своему триумфу при Фернуово. Мой предок остался с герцогом и принял деятельное участие в обороне города. Тут-то и начинается история нашего позора!

– Что же, сударь, здесь и для меня началось самое важное, – промолвила через силу княжна.

– Надо сказать, что жалование дворянам выплачивали крайне нерегулярно, надеясь больше на их преданность трону, чем на корыстолюбие, – продолжал Мерсье. – Мой предок Арно Мерсье, сумевший сколотить за поход приличное состояние, стал опасаться, как бы ни потерять его, ибо на родине у него не было почти ничего. Видя, что Монпансье ведет дело крайне неумело, а де Обиньи частенько поговаривает о возвращении в Париж, Арно стал искать поручение, выполняя которое он мог бы избежать опасностей войны и вернуться во Францию. Такое поручение скоро представилось. Моему предку доверили честь сопровождать одного знатного дворянина из окружения де Обиньи на переговоры с рыбаками из залива Гаэты. Надо сказать, что эти рыбаки, промышлявшие и пиратством, были необходимы французскому гарнизону на случай поспешного отступления по морю. Из Гаэты они могли добраться до Корсики, а там до

Франции – рукой подать! Арно думал воспользоваться этими переговорами, чтобы выяснить возможность личного своего отступления за соответствующую плату.

Я опускаю здесь, княгиня, моральные сентенции: такие нравы были тогда явлением весьма распространенным. Даже более знатные дворяне частенько предавали своих сюзеренов по мотивам личной выгоды в конце прошлого столетия. Впрочем, это нередко происходит и теперь… Итак, переговоры состоялись, и Арно узнал, что ему было нужно. Однако на обратном пути французы столкнулись с отрядом испанцев, завязалась драка, и мой прадед чудом сумел уцелеть. Опасаясь повторной засады, он вместе со своим слугой направился к Террачине, надеясь дождаться благоприятной ситуации и покинуть Италию. Но здесь его ждала неудача: их обстреляли местные жители, слуга погиб, а сам Арно, легко раненый, не мог продолжать свой путь, не передохнув. У него оставалась лишь сумка с самыми необходимыми вещами, мешочек с драгоценностями, в которые он перевел все свои деньги в Неаполе, и оружие. Он решил переночевать в какой-нибудь лачуге, залечить рану и вернуться в Гаэту.

Но неудачи преследовали его во всем! Хозяйка лачуги, где он остановился, предложив за свое лечение значительную сумму, донесла на него людям Цезаря Борджиа, рыскавшим неподалеку. Мерсье был схвачен и доставлен к одному из жесточайших правителей Италии. При этом его совершенно ограбили, оставив лишь одежду и сумку… Цезарь, ненавидевший французов, вторгшихся, как он считал, в его личные владения, предложил Мерсье одну из тех сделок, которые на всех языках именуются предательством. Он предложил ему вернуться к де Обиньи и сообщить ложные сведения о настроениях рыбаков из Гаэты. Арно Мерсье возразил, что те из людей, которые были на переговорах с ним, могут легко опровергнуть эти сведения, и он погибнет. Хитроумный Борджиа убедил моего предка, что никто из них не уцелел и сообщению поверят! Видя, что Арно колеблется, Цезарь добавил к словам еще сто римских скудо: сумму по тем временам значительную. Мерсье пожаловался, что был ограблен; и Борджиа пообещал вернуть его состояние, если он выполнит поручение… И мой предок, увы, навсегда покрыл позором наш славный род.

Генрих замолчал. Казалось, он дошел до самой трудной части своего повествования. Княжна, не отрываясь, следила за тем, как менялся цвет лица барона. Утро уже заявляло о своих правах, но свеча продолжала гореть. Следовало торопиться, скоро мог появиться и слуга Джоб. Барон продолжал рассказ:

– Каким образом пересеклись два наших рода, княгиня, вы,

вероятно, знаете не хуже меня. Предательство Арно сделало его своим человеком при дворе Борджиа, беспорядочное отступление французского гарнизона из Неаполя скрыло многие преступления. Насколько мне известно, Франсиско дель` Пьомбо, ваш отец, принадлежал к партии противников папы Александра Шестого и ненавидел Цезаря?

– Да, это так! – сверкнув глазами, сказала княжна. – Борджиа – проклятая семья, семья предателей и отравителей…

– Возможно, княгиня, Вам неизвестно, но сам Папа неожиданно умер от яда, а его сын Цезарь был убит в уличной драке, поскольку лишился всего своего состояния, – заметил с ухмылкой барон.

– Прекрасно! Божие Правосудие торжествует, – промолвила девочка и сжала пальцы правой руки. – Единственно о чем я жалею, что не могла видеть этого при жизни.

– Ваша смерть, возможно, и стала окончательным проклятием нашего рода.

– Это верно… – княжна задумалась, казалось, картины прошлого прошли перед ней своей чередою. – Когда люди Борджиа отравили моего деда, двух братьев отца и моего брата Патрицио, мой отец поклялся убить Цезаря! Эта семейка надеялась захватить наше богатство, но наш отец перевел все состояние в деньги и драгоценности и спрятал их. У нас остался только фамильный дворец да виноградники неподалеку от Рима… Захват французами Неаполя позволил врагам Борджиа объединиться вокруг герцога Монпансье, но герцог был нерешительным человеком и ничего не хотел делать без указания своего короля. Когда Неаполь пал, мой отец должен был скрыться. Мне было тогда столько же, сколько сейчас – тринадцать лет. Я жила со своей теткой да горсткой слуг в нашем дворце, когда люди Борджиа захватили нас. Я не стану вспоминать те унижения, которым они нас подвергли, счастье еще, что моя мать умерла за две недели до этого.

Не добившись от нас и наших слуг никаких признаний о месте пребывания князя, слуги Борджиа перебили наших людей, а меня с тетей привезли в Рим. Тогда я и увидела это гнусное животное Борджиа. Он, впрочем, держался с нами, как и подобает, но пригрозил, что, если я не стану приманкой для князя дель` Пьомбо, то он казнит нас позорной казнью. Тетка моя держалась мужественно и грозила Цезарю посмертными муками. Он только смеялся и говорил, что папа отпустил ему все грехи наперед… Наше заключение продолжалось полтора года. Со мной обращались сносно, хотя я предпочла бы тогда смерть плену и унижению. Тетка Мария была очень набожна и целые дни

проводила в молитвах. Мне было почти пятнадцать, но я думала не о своих возникавших чувствах, а о своем отце. Я молила Бога, чтобы он явился и освободил нас. Иногда слуги Борджиа (некоторые из них даже благоволили нам) проговаривались о новых злодеяниях Цезаря: о смерти Бентиволио, об убийстве кардинала Капрара, о судьбе некоторых служанок, ставших на время наложницами Цезаря и таинственно исчезнувших после этого…

Я представляла, что мог сделать со мной Цезарь, но поклялась, что умру сразу же после того, как он попытается обесчестить меня. В апреле 1497 года я впервые услышала вести о своем отце. Князь Алессандро сумел объединить противников Борджиа и сколотил небольшое войско на юге Италии. Это были разбойники, которые, как могли, наносили вред Цезарю и его святейшему отцу… Несмотря на помощь испанцев, Борджиа не удавалось справиться с отрядом князя, так как он пользовался поддержкой у жителей Калабрии и Сицилии. Иногда нашим удавалось убить кого-нибудь из приближенных Цезаря, и они высылали его голову в подарок гнусному правителю. Борджиа несколько раз угрожал мне, что вышлет мою головку и еще кое-что в придачу князю, но почему-то не делал этого. Видимо, в его голове уже родился тот коварный план, который погубил наш род.

Однажды, когда мы с теткой возвращались из часовни во дворец, какой-то французский офицер остановил нас и быстро сунул записку мне в руку. Это была весточка от отца… Он рекомендовал нам этого офицера как преданного ему человека, готового похитить нас и привезти в Калабрию. Я не раз видела француза во дворце, и внешне он не нравился мне. Но тетка Мария убедила меня слушаться! Да у нас и не было другого выхода, честно сказать.

– Простите, княгиня, – прервал ее барон. – Этот француз и был, вероятно, мой предок… Но ведь вашего отца звали не Александром.

– Его звали Алессандро Франсиско дель` Пьомбо, князь Гроссето. Меня зовут Элиза Перуджина Алессандро дель` Пьомбо, княгиня Гроссето, я была последней наследницей нашего рода.

– Простите, княгиня, что прервал Вас! – барон подошел к Элизе и присел на краешек дивана, где она располагалась.

– Я продолжаю. План моего отца, который он передал через Мерсье, был очень прост. Меня должны были «похитить» во время прогулки и доставить в Кротоне, где князь взял бы меня на борт своей тартаны и отплыл на Сицилию. Тетушке тоже предлагалось спастись, но она не хотела ставить экспедицию на грань срыва,

так как очень болела в то время. Она считала, что Борджиа не посмеет убить ее, так как она находилась в косвенном родстве с его братом герцогом Гандиа. О, кто мог знать, что вскоре и Жуан падет от руки этого мерзкого властителя! Итак, Мерсье просил у меня только согласия на побег, чтобы действовать наверняка. Я помолилась и дала таковое! Никто не мог знать, что этот план был во всех деталях известен Цезарю, что он хотел лишь использовать мое мнимое освобождение, чтоб свести счеты с князем Алессандро. Теперь я понимаю, почему мы так легко ушли от охранников Борджиа, покинули Рим! Все было рассчитано заранее.

Мне не хочется подробно описывать наше путешествие по объятой войной Италии. Должна заметить, сударь, что мсье Арно держался со мной подчеркнуто вежливо и исполнял мои приказания, но эта маска лживого человека и была отныне его истинным лицом! Мы миновали Казерту, Салерно и Паолу, до Кротоне оставалось не так уж далеко. И тут я, пожалуй, впервые почувствовала недоверие к французу… Слишком не похоже было, что он опасается чего-то, а ведь его измена Цезарю могла стоить жизни. Он часто говорил с двумя своими спутниками по-французски, но я почти не понимала этот язык. Однако все же разбирала, что речь часто идет о деньгах…

Княгиня вновь замолчала, *ее* живые глаза увлажнились слезами, а рука, протянувшаяся, чтобы вытереть их, задрожала. Генрих Мерсье так остро ощутил желание покончить с этими воспоминаниями, что готов был отдать за это всю остававшуюся у него жизнь. Но девочка, махнув рукой, быстро успокоилась и продолжала.

– Деньги были тем кумиром, служа которому ваш предок надеялся обрести свое счастье… Одним словом, когда возле Кротоне мы встретили посланца моего отца, я уже чувствовала, что все кончится плохо. Надо сказать, что еще раньше я вытребовала для себя острый кинжал, который Мерсье дал мне весьма неохотно, и думала, что в нужный момент сумею пустить его в ход. Мой брат Патрицио учил меня этому, когда мы были все вместе. Он говорил: «Знай, сестра, что иногда лучше умереть, чем влачить позор бесчестья!» Мерсье согласился с посланцем, что, как только тартана князя приблизится к Кротоне, он передаст меня и получит свое вознаграждение. Теперь он был очень испуган и не решался идти до конца. Посланец пообещал ему содействие князя в возвращении на родину, но Мерсье холодно встретил это предложение. Он чего-то ждал… Я никогда не забуду ту ночь, последнюю ночь моей дневной жизни. Мерсье оказался гнусным предателем, он до конца выполнил план

мерзавца Борджиа.

Как только он получил деньги, он передал меня Джузеппе, бывшему нашему слуге, теперь сподвижнику отца, и попрощался со мной, но как-то необычно, с ухмылкой. На лодке, кроме меня и Джузеппе, было двое людей князя, и мы торопились к тартане, стоявшей неподалеку. Однако гроза и сильный ветер все время относили нашу лодку в сторону… Неожиданно мы услышали пушечные выстрелы: два корабля испанцев блокировали тартану и расстреливали ее теперь, не давая уйти в море. Конечно, отец мог спастись, бросив меня и своих товарищей. Но он был настоящим правителем и не мог так подло поступить. Они, наверное, все погибли… Три или четыре лодки, спущенные испанцами, чтобы добить утопающих, грозили теперь и нам. Джузеппе приказал приставать к берегу, он надеялся уйти от преследователей по суше. Но там нас ждал отряд из людей Борджиа, которым командовал… Арно Мерсье! Бой не был равным: еще до того, как мы пристали к берегу, двое из нас были ранены.

Джузеппе крикнул мне, чтобы я не сдавалась живой, но в это время пуля сразила и его. Я спрятала кинжал в рукаве платья и надеялась увидеть Мерсье в последнюю минуту. Однако, он был слишком осторожен, чтобы самому хватать меня. Понимая, что от солдат Борджиа не уйти, а мой кинжал будет ими, несомненно, замечен, я крикнула предателю, что проклинаю его самого и весь его род до седьмого колена! Когда же солдаты Цезаря были в нескольких шагах от меня, я метким ударом поразила себя в сердце. Так я умерла – для людей, но не для рода Мерсье!

Княжна при этих словах резко встала и оправила платье. Мысль о месте вернула ее лицу живой румянец, губы ее были плотно сжаты, а во взоре вновь проступила твердость. Генрих, потупив голову, остался на месте.

– Я понимаю Ваши чувства, Ваше высочество. Я презираю Арно теперь не меньше вас, но без него не было бы меня, – устало сказал барон. – Впрочем, Вы пришли для своей мести… Что ж, я готов!

– Нет, барон… – покачала головой Элиза. – Я сама давно устала от своей второй жизни. Мое проклятие было исполнено, я хочу теперь успокоиться… А к Вам я не испытываю ничего дурного.

– Однако именно Вы поразили почти всех Мерсье после Арно! Вы или Ваше проклятие, не знаю… Все мои родственники, умиравшие по самым разным причинам, так или иначе видели Ваш образ перед смертью. Я прочел это в завещании, я слышал… В завещании было написано, будто я – последний Мерсье, кто

может спасти наш род, кто может остановить… Спасти будущих потомков, вымолив у Вас прощение! Впрочем, я не чувствую больше, что способен просить вас об этом.

Казалось, Элиза несколько растерялась. Ее чувства говорили, что перед ней достойный человек, но… Может ли она простить род, по вине которого погибли ее родные? Или месть прекратится после… после смерти этого последнего Мерсье, лицо которого чем-то напоминало ей лицо предателя. Княжна тихо подошла к барону и заглянула в его глаза. Генрих также внимательно и будто по-новому посмотрел на Элизу.

Послышался громкий стук в дверь, это был Морелли, торопившийся приступить к своим обязанностям. Барон сделал знак княгине, что ей нечего опасаться. Но было уже поздно: Элиза, не раздумывая, бросилась к рамам картины…

Через секунду барон вновь остался один. Проклиная слугу, он медленно пошел открывать входную дверь. Под ноги ему попалась кошка, на сей раз его собственная… Он отпихнул ногой ее в сторону и снял засов. Входивший Джоб вынужден был выслушать от барона немало неприятных и обидных вещей в свой адрес.

6. Искупление

Генрих неторопливо прохаживался по своей комнате, служившей ему гостиной и кабинетом. Прошло больше двух недель с того времени, как он разговаривал с княжной из портрета, Все это время он почти не выходил из дому, надеясь вновь услышать Элизу. Но портрет молчал, он не оживал… Последние дни Мерсье уже точно не мог сказать себе, было ли явление княжны в реальности или оно было плодом его расстроенного воображения? Было почти восемь вечера. Внизу слышались переговоры раздраженного Джоба с кошкой на предмет покражи сала, свеча понемногу оплывала в светильнике. Стряпуха, нанимаемая бароном, только что ушла, приготовив изысканные блюда на завтрак.

Мерсье перенес картину к себе в комнату. Последнее время он изучил картину всю целиком, до последнего мазка. Он надеялся, что сумеет еще раз увидеть живую Элизу и услышать ее решение. Решение его судьбы! Но все было напрасно. Твердый взгляд девочки с портрета, казалось, замер с того времени, как рука художника четко отразила его. Черный кот из картины тоже ни малейшим движением не напоминал о своем недавнем земном воплощении. Генрих последний раз оглядел полотно и закрыл его тканью. Он потушил свечу и замер, прислушиваясь к движению внизу. Джоб внизу угомонился и, видимо, готовился ко сну.

Прошло еще несколько часов… Внезапно Мерсье почувствовал, что в его комнате что-то изменилось. Он с трудом открыл глаза, понимая, что княгиня Элиза где-то рядом. Барон быстро зажег свечу и заметил княжну всего в нескольких шагах от кресла. Она сделала ему знак молчать, и он сразу же подчинился ей. Спустя полчаса барон вновь попробовал привлечь внимание Элизы, но она, очевидно, пребывала в каком-то сомнамбулическом состоянии и не реагировала на его слова. Мерсье подошел ближе, взял княжну за руку и поцеловал ее. Элиза повернула к нему лицо, и Генрих с изумлением обнаружил, что она за это время постарела на несколько лет. Нельзя сказать, чтобы Мерсье испугался, но он сразу почувствовал себя как-то неуверенно. Отпустив руку княжны, он вернулся к креслу. Молчание продолжилось.

Наконец княжна привстала и нарушила странное молчание. Взглянув на барона, она спокойно произнесла: «Мне кажется, что это наша последняя встреча… Мне надо возвращаться. Хотя… Еще никогда я не чувствовала себя так, как чувствую сейчас».

– Если это касается меня, то я готов уйти! – промолвил

Мерсье.

– Не могу сказать вам наверняка, Генрих, но я чувствую, что моя вторая жизнь закончится… – княгиня за все время впервые назвала барона просто по имени. – И это произойдет сегодня.

– Почему же Вы не возвращались раньше, – спросил Мерсье. – Я звал Вас, я хотел объясниться…

– Вы все сказали своей жизнью, – улыбнулась княжна. – Для Вас еще многое впереди, а для меня все сегодня заканчивается…

– Что же с Вами будет? – Мерсье волновался и подошел к ней ближе.

– Я вновь обращусь в фигуру на полотне! Без чувств и без мыслей… Моя месть окончена, значит, окончена и моя вторая жизнь.

Только теперь Мерсье осознал, что он ждал Элизу не для того, чтобы расстаться с ней… для того, чтобы быть с ней всегда. Мысль, что Элиза уйдет от него сегодня и никогда не вернется, была для него непереносима. Генрих вздохнул и неспешно подошел к столу. Он быстро наполнил стакан вином и высыпал туда из перстня какой-то белый порошок. Взяв стакан в руку, Мерсье повернулся к княжне.

– Возможно, для Вас, княгиня, это все равно, но я тоже решил уйти сегодня из жизни, – спокойно сказал барон. – Это не связано ни с местью нашего роду, ни с чем-нибудь иным. Просто, решение. И я его принял…

– Вы напрасно делаете это! – Элиза с некоторым сочувствием посмотрела на Генриха. – Уверяю Вас, никакой жизни после смерти для Вас не наступит. Просто покой …и мрак!

– Но разве жизнь не поход по мрачным путям Рока? Разве все, чего я достиг, не было отнято у меня за какие-то прошлые дела бывших людей? Я хочу спросить у Всемогущего: зачем же мне жизнь, если я не знаю, что произойдет со мною завтра!

– Вы пугаете меня, барон, – торопливо произнесла Элиза. – Невольно я стала роком для Вашей семьи, но я видела только образ Арно Мерсье и мстила ему, а не лично Вам!

– Но наказан был я, не так ли?

– Да это так, – с горечью произнесла княжна. Она выглядела теперь совсем беззащитной, потерянной женщиной. Черты лица ее исказились судорогой, казалось, она еще немного, и она заплачет.

– Тогда, после трагической гибели моих невинных сыновей, я решил свести счеты с жизнью. Ни поддержка друзей, ни похвалы короля не могли заставить меня смириться с этой утратой. Именно тогда отец призвал меня к себе и объяснил, в чем дело… Я решил жить, чтобы снять проклятие рода навсегда. Но теперь

мне все равно! И более того, мне еще больше хочется не быть.

– Именно сейчас? – прошептала княжна.

– Именно сейчас! – сказал барон.

– Почему же? – спросила княжна, со страдальческим выражением посмотрев на барона.

– Почему? Ровно пять лет назад умер мой отец. Да, он рассказал мне историю нашего проклятия, но он же и не счел нужным познакомить с завещанием деда, которого звали, как и меня, Генрихом. Эта забывчивость стоила жизни моим детям и детям моего брата! Я многое дал бы, чтобы прозреть именно тогда, а не год назад… Было уже слишком поздно.

– Что же было в завещании?

– Очевидно, мои прадед Арно, оказавшись во Франции, недурно устроился, но проклятие не давало ему спокойствия. Он обратился к колдунам и хиромантам, и они что-то посоветовали ему… Насколько я помню, совет был прост: найти этот портрет и уничтожить его. Тогда Арно стал тратить большие деньги на розыски портрета, едва не оставил нищим моего деда. Он все же нашел его… Но, как рассказывали…

– В ту минуту, когда Арно Мерсье занес руку, чтобы превратить мой портрет в лохмотья, провидение лишило его жизни.

– Вы называете провидением себя?

– Нет, я была только его орудием…

– После смерти прадеда Генрих Мерсье постарался продать тот дом, где умер Арно, но, кажется, так и не смог этого сделать. Он ничего не знал о проклятии рода, так как подлец Арно не счел нужным рассказать о своих преступлениях; он умер, не сказав никому ни слова… Для деда Генриха жизнь представлялась сносною, он верно служил Бурбонам, получал от них награды и почести. Он удачно женился и вскоре стал отцом троих детей. Никто не мог сказать о нем ничего плохого, сам он был человеком набожным и свято верил в своего Бога… И вдруг все пошло не так.

– Бог есть только один! – сказала Элиза, твердо посмотрев на барона. Тот, однако, не отвел в этот раз взгляда.

– Я не разделяю ни убеждений папистов, ни фанатизм протестантства. Но я верю в предопределение, моя судьба тому яркое свидетельство! Впрочем, я продолжу…

– Я внимательно слушаю, – кивнула Элиза.

– Сначала в религиозных войнах погиб старший сын Мерсье Франциск – надежда и опора семьи, затем от непонятной болезни угасла дочь Генриха Мария. Мой дед задумался над этими ударами судьбы, стал усердно молиться, но, видимо, Богу в то

время было не до него…

– Вы богохульствуете, Генрих! – воскликнула княжна.

– Ничуть, – спокойно ответил Мерсье. – Я констатирую истину. Младший сын моего деда и был мой отец, его тоже звали Арно… Впрочем, это обычай в Наварре – давать внуку имя деда.

– Ваш дед действительно был порядочным человеком, судьба оставила ему сына… И род Мерсье не угас… тогда.

– Это было очень любезно с вашей стороны, – язвительно прибавил барон. – Несколько продлить страдания рода, который можно было уничтожить пятьдесят лет назад… Впрочем, с Провидением ведь не судятся, оно и судья, и палач в одном лице. Дед отправил моего будущего отца Генриха в Милан – к другу, потом они переехали во Флоренцию. Все это время из Арно усердно делали юриста, но это вовсе не пошло ему на пользу.

Сам же дед, забросив все остальные дела, ночами просиживал над бумагами своего отца; он догадался, что источник несчастий в прошлом его родителя. Был он большой ценитель поэзии… «*Дрот метнуть в Перигоре до врат хватит ли сил мне под тяжестью лат?*» – я навсегда запомнил эти строчки Бертрана из его уст. Прошли годы, прежде чем он восстановил всю цепь событий, приведших к Вашему проклятию, княгиня! Это был, видимо, счастливейший день его жизни, он поверил, что может спасти своего сына и меня, так как я уже родился… Но довериться моему отцу он не захотел, Арно-младший был чересчур беззаботным человеком и в чем-то унаследовал неразборчивость в средствах для достижения успехов. Мой дед лишь рассказал ему о проклятии рода Мерсье и сообщил, что средство противостоять этому он укажет в завещании. После этого он приехал в Париж, вошел в тот самый дом, где Вы томились так долго, и… Впрочем, вы знаете, как он умер, лучше меня.

– Никто из вас не мог дотронуться до холста, чтобы его в ту же минуту не поразило провидение. Ваш дед хотел уничтожить меня, я лишь защищалась, как могла, – княжна хмуро смотрела на Генриха. – Но Вам я дарую жизнь, Вы этого заслужили! Проклятие исполнено, мне нечего больше делать здесь…

– Жизнь мне уже не нужна, – барон встал и прошелся. – Мне лишь остается закончить свое повествование. Скоро рассвет, Вы уйдете вместе с ночью, как это бывает в старинных песнях, не так ли?

– Да, барон, это так.

– У моего отца было двое сыновей, но мой брат Жан не прожил и десяти лет. Кажется, отец до конца жизни не верил, что он тоже жертва проклятия. Ведь он скончался в окружении

родственников и домочадцев… А потом все опять началось, уже для меня! Скажите, разве невинные дети обязательно отвечают за грехи своих родителей? Или они продолжение цепи случайностей, которые именуются жизнью рода?! Скажите, княгиня?

– Разве не задавала я себе тот же вопрос, когда Борджиа держал меня как заложницу? Да, дети отвечают за грехи своих родителей, страдают за их преступления.

– Иного ответа, княгиня, я и не ждал от Вас… Смерть обоих сыновей заставила меня перерыть бумаги отца, и я с изумлением нашел завещание деда. Оно, как ни странно, было обращено ко мне. Там я узнал, как можно прекратить эти мучения… Возможно, я действовал осторожно, но верно…

– Жаль, что я не узнала Вас раньше, Генрих! – воскликнула Элиза. – Но Вы еще совсем не стары, Вы снова женитесь, еще будут дети. Будьте же счастливы с ними! Прощайте! Я ухожу из вашей жизни навсегда…

– Нет, подожди! – барон подбежал к Элизе и упал перед ней на колени. – Я не хочу покупать жизнь такой подлой ценой! К тому же я не могу жениться на женщине, если не полюблю ее.

– Что же тебе мешает? – Элиза взяла в свои руки голову Генриха и посмотрела ему в глаза. Казалось, она едва сдерживает слезы.

– Ты! – тихо, но твердо сказал Мерсье.

– Я ухожу и уже не вернусь, – Элиза отстранилась от барона.

– Это и есть причина. Я, так уж вышло, полюбил тебя… и хочу быть с тобой всегда.

– Но это совершенно невозможно, Генрих. Я неживая.

– Я тоже давно уже не живу, – барон попытался обнять княжну.

– Подожди, пожалуйста, подожди, Генрих!

Княжна Элиза подошла к рамам портрета. Казалось, она серьезно задумалась… Черный кот из картины оставил свою земную товарку и приблизился к ногам хозяйки. Мерсье отер с лица пот, обильно проступивший у него, и ждал решения своей судьбы. Внизу донеслось покашливание Джоба: слуга недоумевал, с кем это там разговаривает его хозяин.

– Запомни, я не властна над собою… Но точно знаю, что, если ты поцелуешь меня, то ты перестанешь жить здесь, но *там* тебе простятся все твои прегрешения и грехи твоих ушедших родственников. Решай сейчас сам! Я же простила тебя все.

– Мне все равно… Я ухожу не за отпущение грехов, а потому что я люблю тебя – такую, как ты теперь, – почти крикнул Генрих.

– Но это лишь видимость, я умерла сто лет назад…

– Весь мир – это видимость. Одна ты для меня реальна, – и барон вновь попробовал обнять Элизу. Она уже не отстранилась, их губы встретились в поцелуе. Страстно целуя девушку, Мерсье почувствовал, как смертный холод стал проникать во все его тело…

Барон уже не мог резко двинуться, не рискуя испустить дух. Твердую статность тела Элизы Перуджины постепенно заменял эфир. Последнее, что видел Генрих, была оплывшая и погасавшая свеча в комнате, а также его кошка, с изумлением следившая, как растворяется в воздухе ее внимательный хозяин. Так умер последний из рода Мерсье.

…Когда верный Джоб, по заведенному обычаю, поднялся к барону, чтобы разбудить его часов в десять утра, он не нашел в кабинете ни хозяина, ни его предполагаемой ночной гостьи. Недоумевая, слуга осмотрел всю комнату, не забыв заглянуть под кресла, но ничего, как нам понятно, не обнаружил. Тогда Джоб машинально бросил взгляд на портрет, принесенный из странного дома. Ужас пронял флорентинца до корней волос. С портрета на него смотрел страшный взор повзрослевшего на несколько лет Генриха Мерсье, барона де Г… Своей правой рукой он обнимал княжну из портрета, также несколько постаревшую, но сохранившую твердый беспощадный взгляд синеватых глаз.

В руках девочки был черный кот, нагло посмотревший на Джоба и оставшийся крайне недовольным этим зрелищем. Фон картины представлял собой не что иное, как убранство той комнаты странного дома, где Марк и добыл полотно. Джоб, не в силах объясниться, вскрикнул и свалился на пол без чувств. Когда Морелли очнулся, никакой картины на стене не было.

7. Развязка

В этом году весна в Париже несколько задержалась… Но вот потеплело, и середина марта обещала быть последним пристанищем снега, уже совсем потемневшего и готовящегося исчезнуть навсегда. «*Увы, где прошлогодний снег?*» — спрашивал великий поэт. Был конец пятницы, предстояли выходные, и мещане весело переговаривались, обсуждая последние парижские сплетни. Все осуждали короля Генриха, пошедшего на союз с Беарнцем, и нагло грозили присягнуть Генриху Гизу, обещавшему парижанам вернуть их старые вольности и добавить новые. Обсуждали увольнение Кобаля, так и не смогшего отыскать причину исчезновения целого дома по улице Могильщиков. Однажды утром добрые горожане вдруг не увидели ни странного дома, ни чего-либо напоминавшего о том, что он здесь был.

Джоб и Марк мирно сидели в кабачке на улице Феру и допивали последнюю бутылку крепкого рома. Весенняя погода располагала к пьянству и безделью, а Марк, в последнее время получивший у Плутовье существенное повышение, был полон самых радужных надежд на будущее. Несмотря на произошедшие события, Рапок не разорвал отношений с Джобом, а даже приблизил его к себе. Он справедливо решил, что сто пистолей стоили тех минут страха, которые он натерпелся в странном доме. Да и Джоб, оставшись без места, теперь (уже почти месяц) служил в лавке Плутовье младшим приказчиком; Марк же был теперь самостоятельным торговцем.

После таинственного исчезновения Мерсье Морелли обратился к парижским властям, и они, уяснив суть дела, наложив лапу закона на все имущество барона. Правда, Джоб благоразумно не стал посвящать власти в тайну его исчезновения, а лишь попросил выплатить ему жалованье за последний месяц. Жалованье ему мэрия, конечно, не выплатила, справедливо посчитав, что каждый в этом мире заботится о себе сам. Имущество барона было невелико, и в мэрии не рассчитывали, что родственники проклятого гугенота поедут в Париж за такими крохами. К тому же в это же самое время пропал целый дом, и, как это случилось, не мог объяснить никто.

Выпив свою порцию рома, Морелли, временно теперь снимавший комнату у Марка, вернулся к той теме, что была близка им обоим.

– Значит, было очень уж страшно в этом доме, да?

– Черт бы побрал тот дом да и твоего барона в придачу! – негодующе пискнул благодушествующий Рапок. – Ужасно

страшно.

– А отчего же ты заорал тогда? – Джоб уже несколько раз задавал Марку этот вопрос, но тот лишь отшучивался.

– А-а-а… – лицо торговца исказилось от ужаса. – Тогда я увидал в этом ящике с полосами *его самого*, собственной персоной, вот так.

– Кого его? – не понял Джоб.

– Барона! Он сам встал из этого ящика и протянул мне картину!

– Не может быть! – Джоб решил, что над ним подшучивают. – Барон тогда не отходил от меня ни на секунду…

– М-да… возможно, тот был лишь очень похож на него… – Марк задумался. – Он был в другой одежде, такую сейчас почти не носят… Да, я бы многое отдал, чтоб узнать все об этом.

– Теперь уже его нет… – Джоб задумался. – Он ушел с этой картиной. Куда же?

– Ушел и ушел, что вспоминать былое…

– А все же он был добрый хозяин, – заметил Джоб. – Мы с ним ладили…

– Все этот проклятый дом! – воскликнул Ранок, опорожняя свой бокал.

– Да этот странный дом… *Что* же он все-таки значил?

– Теперь это и не узнать, – сухо заметил Рапок.

– Очень жаль! Мы многое узнаем слишком поздно…

Приятели переглянулись и на несколько минут важно замолчали.

Челябинск-Чебаркуль, март 1992; январь 1996 г.;
осень 2005 г.

Смерть музыканта

Памяти Олега Малкова

Каждый пред Богом наг. / Жалок, наг и убог.
В каждой музыке – Бах,/ В каждом из нас Бог…
Ибо вечность – богам, / Бренность – удел быков…

И. Бродский

Детство

Он стоял возле водосточной трубы, изогнутой как фагот, и рукою сбивал порыжевшие сосульки, выглядывавшие из нее. К нему подошел Музыкантик и, немного постояв рядом, вежливо спросил: «Что ты делаешь?». Сказочник, знавший Музыкантика с детства и учившийся пару лет с ним в одном классе, нехотя ответил: «Я кую лед!».

– Можно я тебе помогу? – предложил Музыкантик.

– А ты умеешь ковать лед? – удивился мальчик.

– Я научусь, – замешкался Музыкантик. – Ты научишь меня…

– Я не учитель, я сказочник, – заметил Сказочник. – Впрочем, давай! С тобой будет не так скучно…

– Я тоже люблю сказки, и еще анекдоты.

– Да я и смотрю, ты у нас умник, – усмехнулся Сказочник. – Только что-то ты молчишь все уроки…

– А я не глупее тебе, – заметил Музыкантик, – просто учусь на трояки. В школе у нас объясняют плохо.

– Таким, как ты, и объяснять ничего не надо, как наша Вера Васильевна говорит! Все так поймете – лет через десять.

– Так что – играем вместе? – уточнил будущий музыкант.

– Ладно, играем вместе, только, чур, не надоедать! – решил будущий писатель.

– Не буду, а ты, если что…

– Вообще-то я всегда играю один, так интересней, – пояснил ситуацию Сказочник.

– Одному скучно, – улыбнулся Музыкантик.

– Мне весело, – был ответ.

Дети немного постояли рядом, по-очереди сбили все оставшиеся сосульки и разошлись по домам; каждого звала его судьба… Снова сошлись мальчики в конце третьего класса, когда надо было готовить выпускной праздник для четырех классов начальной школы. Музыкантика определили в группу поддержки основной группе выступающих от класса, где в числе танцующих девочек и поющего дуэта Любы-Лены солировал и наш Сказочник с чтением патриотического стихотворения о дедушке Ленине и счастливом детстве октябрят. Сказочник заканчивал первый этап школьной жизни на одни пятерки, а Музыкантик с трудом вышел в конце года на «хороший» аттестат. Но они вновь почувствовали потребность друг в друге, к тому же и жили неподалеку.

В апреле Музыкантик побывал дома у Сказочника и поразился тому миру, который существовал в комнате друга и который открылся его изумленным глазам. Сказочник чувствовал

потребность в настоящем друге, и Музыкантик давно этого хотел. У Сказочника не было отдельной комнаты, а был лишь угол, отгороженный от единственной комнаты квартиры старым тяжелым шифоньером. Там стоял огромный диван, пять не распакованных книжных полок, образующих стол, на котором располагалось пластилиновое Царство из вылепленных Сказочником человечков, ящик с игрушками, вот, пожалуй, и все… Но для Музыкантика, не видевшего у себя дома ничего, кроме узкой кроватки и общего с братом письменного стола, такой Угол казался целым миром с его сказочным создателем.

Музыкантик заворожено следил, как разыгравшийся Сказочник устраивал грандиозные битвы на импровизированном столе, казнил своих пластилиновых подданных, а потом подстраивал им пышные проводы в лучший мир, откуда они, правда, все возвращались с залепленными ранами и приставленными головами, но с другими именами и иными характерами. Музыкантик с ужасом наблюдал, как в руках неукротимого создателя оживают пластилиновые люди и начинают говорить, двигаться и чувствовать, но при этом неуклонно приближаться к уготованной им гибели. Иногда он просил Сказочника подарить ему одного из понравившихся слепленных героев или хотя бы не убивать его, но тот не слушал друга, продолжая свою игру в жестокую жизнь. В этот момент Сказочник как будто держал в руках весь мир, он чувствовал себя в эти минуты Вседержителем… С течением лет дети нечасто встречались вне школы и мало разговаривали между собой, но уже ощутили какую-то странную нить, стянувшую их души.

В школе они почти не общались, так как каждый вынужден был мириться с отведенной ему ролью – круглого отличника и скромного тихони. И выход за рамки этой навязанной роли никем бы из окружающих не приветствовался. Встречаясь, ребята никогда не говорили о школьных делах, у них имелись другие темы. В эти годы оба пережили глупую влюбленность в одну и ту же девчонку-одноклассницу, но это не сблизило и не отдалило их. Сказочник продолжал разыгрывать уже прочитанные, а не выдуманные, как прежде, сюжеты в своем воображении, а не на пластилиновом Столе. Музыкантик же взял в свои слабые руки нежную гитару и потихоньку играл на ней по вечерам, подумывая о несовершенстве современного мира. Он в это время стал слушать различные гитарные напевы, и это как-то мирило его с окружающим равнодушным миром.

Выпускной бал застал друзей на разных этапах жизненного пути: Сказочник свято верил в собственный светлый путь, Музыкантик не очень представлял себе, что будет с ним дальше.

На выпускном бале в школе все чествовали Сказочника, закончившего школу на одни «пятерки», а тихого Музыкантика в суматохе как-то даже забыли поздравить. «Жизнь не проживешь на „пятерку“», – подумал погрустневший Музыкант, пока радостный Сказочник глупо барахтался в руках лживой старушки-славы.

Юность

Их юность проходила разновременно. Пока Музыкантик в тяжелых кирзовых сапогах два года топтал землю родной Отчизны, Сказочник умственно рос в Билибинском университете. И там он был почти на первых ролях, разнообразя скучные зубрежки и чудные ночные чтения произведений наших и зарубежных классиков походами «по пиву» и дружескими студенческими попойками, устраиваемыми чуть ли не через день.

Музыкант попал в строй-роту на какую-то отделенную «точку» в Бурятии. Армия тяготила его, служил он крайне неохотно. По целым дням Музыкант уныло копал лопатой (главным боевым оружием) какие-то никому не нужные рвы и окопы, выполнял бессмысленные указания глуповатых командиров, отжимался и подтягивался. Приходя в казарму, Музыкант, усталый и внутренне опустошенный, даже и не пытался брать в огрубевшие руки расстроенную гитару с непристойными наклейками на корпусе, которая неизменно присутствовала в месте солдатского отдыха. С сослуживцами он общался мало, перед «дедами» не выслуживался, но и за себя умел при случае постоять. Но *«брызнул свет – и мрак исчезнул»*. В захудалой армейской библиотеке Музыкант раскопал новенький, по-видимому, ни разу не раскрытый до этого экземпляр «Евгения Онегина». Музыкантик смутно помнил что-то отрывочное из этого романа Пушкина, бегло прочитанного в детские годы и отчасти усвоенного в рамках школьной программы. То, что понял он, заново открыв Пушкина, потрясло и очаровало его.

Несколько дней Музыкантик ходил, как ошпаренный, на работе что-то бессмысленно бормотал, припоминая волшебные строчки. Другие солдаты-одногодки косились на него с недоумением; и раньше-то не особо разговорчивый Музыкант, после чтения «Онегина», вовсе ушел в себя. Сержант-дед, не выдержав как-то длительной паузы между вопросом и предполагаемым ответом Музыканта, ткнул его кулаком в нос и посоветовал обратиться к врачу по психам. Музыкант ничего ему не сказал, но, вытирая кровь, так посмотрел на старослужащего, что «дедок» на минутку оторопел и трусливо попятился… Блеск Пушкинского гения навсегда отравил жизнь сразу повзрослевшего Музыканта. Он вдруг ясно осознал, для чего родился и зачем он умрет. Нужно было только дождаться конца срока службы. «Ведь служба и творение – две вещи несовместные», – решил Музыкант.

Сказочник между тем, наслушавшись и начитавшись самых разнообразных поэтов, неожиданно заключил, что и сам он –

незаурядный пиит. При этом, даже не написав на тот момент ни одного стоящего стихотворения, он почему-то решил, что писать станет гениально (не меньше, но, слава Богу, и не более того). Окончательно осознав себя гением, сказочник, обернувшийся в Писателя, успокоился на счет своей дальнейшей судьбы и предался «веселой легкости бездумного житья», между делом создавая шедевры молодежного пера и громко зачитывая их своим собратьям-студентам за кружкой пива или стаканчиком портвейна.

Однако рассылка стихотворных произведений по редакциям всех толстых журналов не вызвала ответного, запланированного Писателем, восхищения. Ответы из столичных редакций приходили либо уклончивые и советующие продолжать писать, либо разгромные и от того немного бестолковые. Стихи при этом возвращались Писателю с унизительными пометками, указующими на неправильные ударения и неточность рифм, хотя все известные ему поэты только и делали, что грешили тем же. Несколько опешив, Писатель напялил на себя мантию непризнанного гения и продолжил запои, читая ошалевшим от откровенности собутыльникам свои новые вирши. Стихи у него действительно выходили немного жуткими и были наполнены призывами покончить с «*бесовством русской ночи*». На третьем курсе Писатель предался размышлениям о сути человечьего бытия и нелепости земной жизни. Он едва не вылетел в открытое окно девятого этажа в полном соответствии со своими думами, но вовремя сел за стол и погрузился в «настоящее» творчество…

Писатель, отринув сочинение виршей, решил написать *«нетленный» роман*, который бы охватил Россию, в очередной раз оказавшуюся на распутье в те годы, со всех сторон – экономической, политической, нравственной и, если получится, духовной. Его тогдашний приятель и сокурсник Владимир, писавший под модным псевдонимом Колчак Деникинский, одобрил сие решение и обещал поддерживать собрата. Роман этот под рабочим названием «Подонок», хотя и шел с трудом, в тихую ночную пору, но сочинялся понемногу. Писатель несколько успокоился, погрузившись в технические детали писательского ремесла.

Музыкант, с нетерпением ожидая конца службы, также мечтал об одном – вернуться к настоящему творчеству…

Зрелость

Когда приятели встретились вновь, они уже стали другими. Музыкант вдруг сделался дерзким и насмешливым – он знал, чего хочет, и знал теперь себе цену. Искусство требовало жертв, и он был готов с радостью принести их. Музыкант мог по целым суткам не вылезать из своей квартиры, играя и слушая ***великую музыку***. Он рад был бы работать без отдыха, но его организм бунтовал против этого. Музыкант торопился, ему казалось, что он и так слишком много времени растратил понапрасну. Писатель устроился в Городе более вольготно – он мог валяться на пляже по целым дням, работал мало и неохотно. Поленившись завести подругу на лето, Писатель таскался на близлежащие озера один или со случайными друзьями – мнимыми поклонниками его таланта.

Сила обстоятельств снова столкнула их – они сошлись. Писатель, месяца за два до возвращения Музыканта из армии, получил от него пару писем, в которых, помимо общих рассуждений о жизни и службе как таковой, были и написанные Музыкантом стихи. Одно из стихотворений сразу запоминалось, оно называлось «Прощание» и начиналось приблизительно так:

Прощай, Борятия! Край грубых мерзких рыл,
Край дикости и тупости, в котором
Два года, средь дерьма, и сам я гнил,
Но жил и выжил! Светлый час пробил…

Далее автор искренне сожалел о двух годах жизни, потраченных напрасно и *«закопанных за тем вон косогором»*, надеялся на то, что никогда не окажется в этих краях впредь, верил в то светлое, что ожидает каждого при его возвращении на родину. Писатель написал Музыканту ответное теплое письмо с присовокуплением свеженького текста собственного сочинения, при этом он немного посетовал, что близкое знакомство с текстом «Онегина» прорывается в стихах Музыканта в каждой строфе. На это письмо Музыкант ничего не ответил, и, вернувшись, никогда не напоминал о своем поэтическом опыте.

… Между тем не так уж и много дней оставалось скоротечному уральскому лету. С каждым днем природа неуклонно приближалась к своей осенней старости, чтобы умереть зимой и вновь воскреснуть весною. Писатель значительно резче, чем обычно, ощущал это движение, потому что подходил

срок окончания его безалаберной жизни. Наступало время последнего года обучения в университете, а там и постоянной большой работы – то ли в школьном образовании, то ли в каком-нибудь стоящем издании областного уровня… Музыкант также с нетерпением ждал осени, ибо заканчивалась пора его вакаций, что означало возвращение в музучилище, куда он поступил буквально перед призывом в армию. Само возвращение в музучилище не вызывало у него приступа энтузиазма, так это означало со-ученичество с людьми, не понимающими в Музыке ни звука, выслушивание глупых советов от неудавшихся в прошлом музыкантов – преподавателей этого *«музилища»*. Однако это новое обращение к музыке, возможность пополнить багаж своих музыкальных знаний и технических приемов – все это не могло не радовать Музыканта.

Приятели стали чаще встречаться и беседовать между собой. Их встречи никогда не походили одна на другую; они говорили о чем угодно: о Боге, о Жизни вечной и жизни простой, о любви и женщинах (что было, по их мнению, не одно и то же), о прошлом и будущем. Писатель чувствовал себя более опытным в этих важных вопросах, больше говорил, а, когда молчал, снисходительно слушал. Музыкант же, напротив, всегда старался дойти до истины, если таковая имелась, для чего готов был даже выслушивать поучения велеречивого Писателя. Несмотря на то, что каждый из них считал другого полным профаном в деле, которому сам служил, их беседы почти никогда не принимали резкого оборота. Так они и ходили вечерами по потускневшему осеннему Городу, громко разговаривая, цитируя классиков и распугивая мирных зазевавшихся прохожих… Однажды они вдруг заговорили о сущности любви. Музыкант вопросил Писателя:

– А разве в любви невозможно счастье?

– Нет, дружок, невозможно!

– Как же так? Что же ты скажешь на море стихов о счастливой любви?

– Ты влюбляешься в женщину на мгновение, а должен изображать, что это чувство вечное. Сначала интересно, но потом… – пояснил Писатель.

– Но есть же любовь Ромео, Отелло?

– «Нет повести печальнее на свете, чем повесть…»

– Перестань, Бога рада! Я серьезно говорю…

– Да, шутю-шутю… Хотя, по-моему, любовь к женщине лишь половая, любовь самца к самке, так ведь и Базаров у Тургенева рассуждает, – уточнил Писатель. – Да черт с ним, с Базаровым! Мало ли что болтают герои.

– Тут ты в самую точку угодил, – повеселел Писатель. –

Болтают они, что угодно, верна мысль твоя!

– А вот ты? Ты уже испытал сам… это?

– О чем речь! – хлопнул себя по бедру Писатель; помешкав, он счел нужным добавить, – И неоднократно.

– И все это было с разными женщинами? – глухо спросил Музыкант.

– А как же, – слегка прилгнул Писатель, – ведь это, как его, у меня было тьма поклонниц, все так и просились в постель.

– И как ты… а они?

– Надо ли тебя учить! – замялся Писатель.

– Да, – честно признался слегка покрасневший Музыкант. – Я ведь в этом деле в общем-то профан?

– Прочь, непосвященные! Ну, это к слову, – Писатель призадумался. – Я хочу сказать, что в этой любви ничего сложного нет: сначала ты заговариваешь с ней, потом обязательно целуешь в губы, ну а затем… в общем, можешь смело лезть под юбку…

– Зачем же лезть под юбку? – поскучнел Музыкант. – Это глупо…

– Ты что, так нелепо шутишь?

– Но ведь это же не эстетно!

– Дальше хуже, ты засовываешь… Впрочем, это все сто раз лучше меня описано, вот Генри Миллера почитай, например, «Тропик Рака» или…

– Нет, это вовсе не любовь! – возопил Музыкант. – Я другого прошу, требую…

– Ну и требуй на здоровье, кто же против такого требования?

– Я считаю все это глупым и пошлым!

– Знаешь, это все так считают, но делают одно и то же. В этом свой шарм плюс продолжение рода человечьего, естественно…

– Значит, по-твоему, великой любви к избраннице нет?

– Любви мужчины к женщине нет! Есть любовь к Богу, любовь к матери или отцу, к стране, наконец. Но к женщине – только желание…

– Значит, ты еще не любил по-настоящему! – резюмировал Музыкант.

– Может быть, это и так, – неохотно заметил Писатель.

Они надолго замолчали, думая каждый о своем, и продолжили прогулку. Вышли приятели из задумчивости, когда очутились возле знаменитого в Городе места, называемого Косой. Это была глубоко вдающаяся в озеро отмель, заросшая травой и высокими кустами. Около песчаной дорожки, ведущей вглубь Косы, стояла огромная железная вышка, служившая ранее спасателям, а ныне пришедшая в негодность за неимением, кого

спасать. Писатель и Музыкант осмотрелись и, не сговариваясь, полезли на самый верх Вышки, чтобы видеть все… Забравшись туда, приятели остановились у самого края круглой площадки с заржавленным обводящим поручнем и залюбовались видом, раскинувшимся перед ним. В резких лучах догоравшего солнца небольшое озеро выглядело целым морем с переливчатыми гребешками вставáвших волн. Но уходящее солнце как бы прихватывало с собою часть этого моря, на глазах уменьшая его. Голубые горы на другом конце озера четко проступали на горизонте, пожелтевшие острова тонули в блистающей мантии водной глада. Прибрежный песок отсвечивал тяжелым золотом…

Вдруг Музыкант почувствовал быстрый укол в сердце. Он охнул и повернулся к Писателю, но тот был совершенно спокоен. Что-то щемяще-грустное навалилось на Музыканта, и он, торопливо оглядевшись, неуверенно продолжил прерванную беседу.

– Вот, как считаешь, отчего в Музыке все так совершенно, а в жизни людей нет? Ведь мир так красив, – каким-то жалким жестом он обвел вид вокруг.

– А ты ее видел, жизнь-то? – улыбнулся Писатель. Ему казалось, что Музыкант, даже после армии, духовно почти не вырос, продолжает рассуждать, как ребенок. Некоторые вопросы приятеля его просто раздражал, он подозревал в них подвох и скрытую насмешку.

– Не так много, конечно, но видел достаточно, – твердо сказал Музыкант. – Больше видел мерзкого, быдлячьего, но там за два года и много передумал.

– Все мы что-то видели! А Кто-то, должно быть, видел все.

– Кто же это? – живо спросил Музыкант.

– Пушкин, к примеру.

– Пушкин, Бах, Моцарт – да! Но кто из нас, смертных?

– А их ты что же в ангелы записал? – засмеялся Писатель.

– Они Боги, – уверенно, почти не раздумывая произнес Музыкант.

– Да боги ли? – усмехнулся Писатель.

– Да, конечно!

– *«Каждый пред Богом наг, жалок, нищ и убог, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог»!* – процитировал: Писатель.

– Кто это сказал? – заинтересовался Музыкант.

– Это Иосифа Бродского стихи.

– Броцкий? – переспросил Музыкант.

– Точно, он самый!

– Он хорошо сказал, хотя я не знаю его, не читал… Но как же быть нам – не богам?

– Ну, это смотря кому что нужно… – пожал плечами Писатель и начал спускаться вниз. – Вот ты, например, себя как определяешь?

– Я? – замялся Музыкант. – Сложный вопрос, вообще-то. Мне хочется просто понять, смогу ли я в жизни сделать что-то… смогу ли я дать людям что-нибудь свое?!

– Очень ты нужен людям! – Писатель почти спустился до половины лестницы, но счел нужным остановиться и прочитать Музыканту мораль. – Человечество узнает о тебе сто лет спустя после смерти и тупо удивится, как это оно раньше не разглядело такого парня… Если вообще узнает и что-то скажет! Не надо считать, что твой долг – делать что-то для людей вообще, сделай что-то полезное хотя бы для себя. Или для своей семьи…

– Нет, я не о славе, черт с ней, – Музыкант затрусил следом. – Я о том, чтобы создать что-то, хоть в десятой доле равное Богу.

– В десятой доле! Да тебе никогда не сделать такого…

– Почему? – поразился Музыкант.

– Почему? – разозлился Писатель. – Потому что даже наш разговор (а ведь мы тут одни, верно?) уже был и был не раз, и все уже было сделано – и в десятой, и двадцатой доле! И все это уже было, было… А мы, знаешь кто? Мы – вечные дублеры.

– Успокойся! Ты сам не веришь в то, что говоришь. Не так уж и зря мы живем, иначе… стоило ли знать об этом?

– Знать, действительно, не стоило! – угрюмо отметил Писатель. – Жили бы, как птички божьи, не ведая стыда…

– Мы-то точно живем для другого! – пробормотал Музыкант. – Для светлого и чистого, как музыка.

– Все живут, в общем-то, для одного…

– Для чего же, – оживился Музыкант. – Ну, скажи?

– Для смерти! И мы не исключенье, и не были исключеньем, как бы ты не хмурился, ни Бах, ни Пушкин, ни Достоевский… Да и бог-то не всякий, вспомни Осириса.

– Я знаю теперь, зачем мне жить, – твердо сказал Музыкант. – Во всяком случае сейчас.

– «Блажен, кто верует, тепло ему на свете…» – блеснул эрудицией Писатель.

– Это отлично сказано, откуда?

– Сам сочинил! – неожиданно соврал Писатель.

– Так ведь в этом уже часть Бога! – оживился музыкант. – А прежние твои стихи мне не нравились, если честно…

– Ну да, Александра Сергеевича стихи вообще-то…

– Пушкина? – удивился Музыкант.

– При чем здесь Пушкин?! – Писатель поморщился, разговор начинал его утомлять. – Давай домой, а? У меня что-то нога

заболела…

– Вот как? А у меня что-то сердце кольнуло, – спохватился Музыкант. – Пойдем к дому, завтра в училище.

– Стареем, друг, – усмехнулся Писатель. – А вроде, и не жили еще.

Они окончательно спустились с Вышки и побрели к городу.

Последняя встреча

После этой встречи Музыкант долго не виделся с Писателем. На все предложения последнего прогуляться он отвечал уклончивыми ответами, ссылаясь на занятость в училище, куда он вернулся, предварительно съездив в колхоз (без чего музыкальное образование в СССР, конечно же, будет неполным). Писатель потихоньку приступил к своей дипломной работе, попутно взявшись за обучение детей в школе Билибинска (в рамках обязательной для филолога педпрактики). Работа в школе не очень обременяла его и даже доставляла некоторое удовольствие. Казалось, приятели забыли о своих беседах и спорах, а неоткрытая истина уже не так сильно тяготит их, утонув в потоке мирских проблем. Дело потихоньку шло к зиме, а они и не подумывали о новой встрече.

Неожиданно Музыкант сам зашел за Писателем, чего не случалось и в лучшие дни их дружбы. Обычно они уславливались о встрече заранее – по телефону. Писатель, хотя и был занят, но, посмотрев на лицо несколько осунувшегося Музыканта, быстро собрался пройтись. Приятели отправились, чтобы совершить последний совместный в их жизни круг… Музыкант мало говорил, пока они бродили вдоль городских улиц – сначала шумных и суетных, потом – пустых и мрачных. Он слушал разглагольствования Писателя о несовершенстве системы школьного обучения, о неясном будущем великой страны при таком руководстве царя Михаила, но какая-то странная улыбка все время блуждала по усталому лицу его.

Подождав, когда приятель иссякнет, Музыкант торопливо огляделся и перешел к главному, ради чего он и пошел на эту встречу. Остановившись возле парковой скамейки, у которой они обычно расставались, Музыкант решился на откровенность:

– Ты в прошлый раз говорил о Смерти, точнее, о том, что все уже было и мы все уже были!

– Говорил, не спорю, но говорил так себе, средне, – Писатель явно перефразировал фразу Булгакова.

– Да-да, но не кажется ли тебе странным это вечное движение жизни по замкнутому кругу? – Музыкант очень внимательно смотрел на приятеля. Словно от его ответа что-то реально зависело.

– По спирали, точнее.

– Пусть так, – кивнул самому себе Музыкант.

– Что ж странного? Кому захочется по нескольку раз переписывать сценарий жизни людей?

– А он точно написан? – тихо спросил Музыкант.

– Конечно, все повторяется.

– Но тогда зачем Блок, если был Пушкин? Зачем Моцарт, если был Бах? Зачем мы, если мы уже были?

– Откуда же мне знать? – удивился Писатель.

– Да, я понимаю, – с грустью сказал Музыкант. – Только вот думаю: я не умел хорошо играть и ничего не чувствовал – ни боли, ни радости. Теперь я играю других музыкантов, это дает мне… волю жить, желание счастья! Но ведь свое создать не могу – это хуже отчаянья!

– Так бывает у всех, что тут говорить…

– Я берусь писать музыку, но знаю, что это уже написано. Зачем же писать заново и хуже старого? Играю по вечерам на гитаре! Зачем мне играть, зная, что есть лучшие исполнители… Пако де Люсия и все прочие…

– Здравое рассуждение, – отметил Писатель. – Но отсюда вовсе не следует, что и жить не стоит. Иначе человечество сильно уменьшилось бы в численном отношении.

– Да стоит ли?! – скривился Музыкант, его лицо вдруг приобрело некий сероватый оттенок. – отягощать мир своей персоной?

– Да ты что, в самом деле! В Америку собрался что ли? – разозлился Писатель.

– Причем здесь Америка? – удивился Музыкант.

– При том, что «Преступление и наказание» надо было в школе как следует читать!

– Не понял тебя!

– Это эвфемизм, замена слову «самоубийство», – устало пояснил Писатель. – Так Свидригайлов Раскольникову говорит о своем решении…

– Вот как! Я и забыл совсем, – чему-то как бы порадовался Музыкант. – А вообще теперь я спокоен, всего не узнаешь, да и не нужно это.

– Ну и славненько, – начал успокаиваться Писатель.

– Теперь, – многозначительно добавил Музыкант.

– Теперь? Слушай, да ты и впрямь что ли… – Писатель с трудом подбирал нужное слово, – задумался об Этом?

– Я имею в виду не смерть, а самопознание в своем роде, йогу, хе-хе, – слова Музыканта звучали явно издевательски.

– Хорошенькое самопознание! – хохотнул Писатель; ему отчетливо показалось, что приятель просто набивает себе цену подобными заявлениями. – Я все-таки думаю, что ты не сваляешь такого дурака?

– Дурака? – изумился Музыкант, – да что ты знаешь об этом…

Об этой стране Асгард? О Стиксе? Об Орфее, бредущем из вечного царства, откуда нельзя возвращаться?

– Я знаю только то, что такие размышления твоему мозгу вредны, – грубо заметил Писатель. – Ты по жизни мало думаешь о чем-то, не рассуждаешь толком, а на выводы горазд!

– Ну ладно, мне пора, – сказал сразу остывший Музыкант.

– Идешь домой? Проводить?

– Да нет, зачем же, дойду уж сам как-нибудь…

– Ну, пока! – стал прощаться с Музыкантом приятель.

– Когда-нибудь мы с тобой, возможно, встретимся… и ну да! продолжим этот наш спор.

– Почему это когда-нибудь? – Писатель зачем-то тоже успокоился. – Можно хоть завтра, я не занят вечером.

– А вот, где я буду завтра, уж не знаю, – протянул Музыкант.

– Ну и встретимся, если что! Я тебе звякну.

– Не стоит беспокойства, – замахал рукой Музыкант, – я сам…

– Сам позвонишь?

– Угу, я позвоню, наверное… Или кто-то тебе позвонит, непременно утром, очень рано!

– Рано утром не надо, я сплю, – пояснил Писатель.

– Ничего, – тихо промолвил Музыкант. – Тебя разбудят!

– Не говори ерунды, зачем?

– Чтобы ты наконец-то *проснулся*, – загадочно улыбнулся Музыкант. – Уже надо теперь просыпаться…

– Ну, давай, до свиданья, – Писатель протянул руку на прощание.

– Прощай! – Музыкант махнул рукой и, не оглядываясь, пошел прочь.

Писатель внимательно посмотрел ему вслед, но ничего особенного в этом жесте не заметил. И раньше такое настроение Музыканта едва не заканчивалось их ссорой, но потом все разрешалось и успокаивалось… «Девку ему побойчее надо завести, вот и будет решение всех философских вопросов! – подумал Писатель. – Проговорю ему это – с цитатами из классиков, ясное дело…». Приятели вновь разошлись, теперь уже навсегда.

Музыкант быстро уходил в осеннюю русскую ночь. Писатель оставался в полосе неясного света, отбрасываемого яркой Луной.

……..…….

……..

Придя домой, Музыкант не стал торопиться. Он внимательно осмотрел гитару, подстроив ее, остался доволен. Музыкант хотел

поставить пластинку Баха, но очень долго выбирал, что именно, так и не решившись ни на что. Наткнувшись на капризы Паганини, он страшно рассмеялся и на минуту замер… Он решил, что Музыка будет с ним и там, и там она будет вечно.

Затем он быстро встал и пошел в кладовку, где было все приготовлено заранее. Достав из тайника свечу, веревку и иконку, он вернулся в свою комнату, чтобы проститься с нею. Неожиданно хлопнула входная дверь – некстати вернулся старший брат, живший отдельно, но иногда навещавший их. Музыкант побелел и начал быстро сбрасывать вещи в какой-то сиреневый пакет, случившийся рядом. Нашарив в кармане спички, он немного успокоился: «Спички на месте, спички на месте…», – и торопливо вышел в коридор.

– Ты куда это намылился? – насмешливо спросил брат, раздеваясь в коридоре. Он был старше на пять лет и всегда немного подтрунивал над братом.

– В Америку собираюсь, поеду, – злобно бросил Музыкант.

– Что-то ты вещей мало прихватил! В Америку-то, – рассмеялся брат.

– Ничего, там все есть, все есть…

– А серьезно куда? – уточнил брат и тут же добавил. – Родители не приехали из пансионата?

– Завтра к утру обещались, – пожал плечами Музыкант. – Может быть, ночью даже приедут?

– Ночью навряд ли… Перекусить есть что? – поинтересовался брат. – Или голодаешь, как отшельник Исав?

– В холодильнике посмотри, есть вроде, – махнул рукой Музыкант. – Ты надолго?

– Да на пару часов, у меня сегодня дежурство ночное. А что – мешаю тебе музицировать?

– Оставайся, так даже лучше, – решил Музыкант.

– Пойду на кухню, почифаню чего-нибудь!

– А я помоюсь, ванну приму, – забормотал Музыкант.

– А чего ты такой бледный, а? Знаешь анекдот, новый? У русского еврей спрашивает: ты что – такой бледный сегодня, он говорит: да вот …

– Ничего, так! – Музыкант двинулся вперед, к окончанию всего этого. – Отстань, ради всего самого…

– А ну-ка постой, – брат вдруг задумался и встал на пути. – Ты какой-то странный сегодня, случилось что?

– Оставь меня! Просто устал, – почти крикнул Музыкант, – иду мыться! Что еще сказать?

– Да ладно, шучу, – отступил брат. – И все ж странно ты ведешь себя последнее время! Не хочешь по душам пообщаться?

– Нет! И ничего не случилось, нормально все…

– Ну ладно, мойся, потом поговорим! – брат шутливо поклонился и отступил в сторону, путь был свободен. – Забочусь тут о тебе.

– После позаботишься! – Музыкант, улыбнувшись, не стал больше мешкать и быстро прошел в ванную. Войдя, он тут же заперся изнутри.

Потом он включил воду из холодного крана – разговор с братом отнял последние силы. Лицо Музыканта было искажено судорогой, а руки страшно тряслись. Он подождал, пока немного успокоится, но *э т о* не проходило. Животный организм не желал смерти и упорно не хотел мириться ни с одним из доводов хитроумного рассудка. Музыкант тяжело поднялся на верхний край ванны и кое-как приладил веревку на крюк, куда обычно вешался душ. Сделав это, Музыкант спустился и, торопливо чиркая спичками, начал зажигать приготовленную свечу. После долгих попыток разум взял верх над трясущимися руками. Свеча наконец зажглась, Музыкант установил ее на ванном столике и быстро выключил верхний свет. В тусклом мерцании ванна вдруг представилась ему огромным, глубоким котлом, в который он непременно должен сойти, а веревка показалась почему-то свисающей лестницей, ведущей наверх – к Богу…

Музыкант кое-как сделал петлю, неумело намылил ту часть веревки, по которой она должна была соскользнуть. Поставив в ванну небольшую табуретку, давно приготовленную, он полез на нее. Хлеставшая из крана вода заглушала все его движения: Музыкант давно промочил брюки и носки, но не обращал на это никакого внимания. Твердо встав на табуретку, Музыкант перекрестился, с раздражением подумал о том, что надо бы надеть крест, но затем скверно улыбнулся, надевая петлю.

Последней его мыслью было – не забыть подогнуть ноги, если они все-таки достанут до дна. Только бы не забыть об этом! Когда Музыкант отталкивал от себя табурет, он уже ни о чем не думал и ничего не воспринимал.

Послесловие

Утром в квартире Писателя раздался телефонный звонок. Не довольный ранней побудкой, хозяин соскочил с кровати и направился к телефону, который стоял у него в коридоре. Подойдя, Писатель секунду думал – стоит ли брать трубку или нет. Телефон при этом не умолкал, заливаясь бешеной трелью. «А! это ж Музыкант, он хотел позвонить», – вспомнил Писатель вчерашнюю беседу и снял трубку.

Она долго молчала и, наконец, не спросив, кто у телефона, женским голосом произнесла: «Музыкантик… наш Музыкант умер». С минуту ничего не соображая, Писатель пришел в себя и прокричал в потеплевшую трубку: «Как же так?».

Ответом была тишина – то ли повесили трубку, то ли там, вдали, тоже рыдали.

Осень 1989 г., лето 2007 г.

Нимфетки

– Мне, знаете, очень нравится наша современная молодежь, ее свобода, раскованность, суждения, если хотите! Маленькие Веры, понимаете, Лолиты.

– Эта безоглядная свобода до добра ее не доведет, вы уж поверьте!

– Осуждать молодежь – признак старости…

Из частной беседы

Человек полагает, что он свободен, если ему дозволено поступать произвольно, но в произволе и заключена главная причина его несвободы…

Георг Гегель

Необходимое предисловие

Это произведение было написано мной в начале июля 1990 года – буквально за 3–4 дня, после одного занятного эпизода, произошедшего со мной и моими приятелями на озере Еловом. Эпизод этот, правда, был очень относительно связан с конечным сюжетом моралите, но именно он дал толчок написать давно вынашиваемое произведение о русских нимфетках. Конечно, в то историческое время я был страстно увлечен романом «Лолита» Набокова и движим воинственными планами написать нечто подобное, поэтому текст получился достаточно «бойким» и насквозь пародийным по отношению к патриархальной русской литературе. Я порезвился на славу, зацепив удачный и необычный для 1990 года сюжет, попутно выразив свои мысли и настроения. Осенью 1998-го я стилистически улучшил этот текст, готовя его для публикации (так и не состоявшейся), но не внес никаких сюжетных изменений.

Теперь, по прошествии стольких лет, мне кажется, что мои наблюдения, высказанные в «Нимфетках», оказались подтверждены нашей разгульной постперестроечной жизнью, что мои сомнения разрешились – и, увы, не в сторону торжества добродетели. Поведение молодых людей и юных, но смелых особ женского пола в моем произведении 1990-го сделалось чуть ли не нормой поведения молодежи в конце 20 столетия, и пока нет особой уверенности, что начало 21 века будет отмечено резким изменением этой ужасной нормы. Можно развести руками и поругать: демократию, развязных лживых политиков, наше телевидение и молодежный «стебовый» эфир. Но, согласитесь, глупо укорять нынешних молодых в том, что они ведут себя не так, как вели себя их отцы и матери в годы своей комсомольской юности. «**Новое время – новые песни»**, – говорил Гёте! Послушайте отечественную «попсу», и вы многое поймете, побродите по «развлекательным сайтам» в Интернете – и все станет значительно яснее.

Искусство не религия, оно не учит людей абсолютным нормам жизни, оно заставляет задуматься и посмотреть на эту жизнь глазами отстраненного наблюдателя, посмотреть и сделать выводы. Вы можете называть эту жизнь грешной и ужасной, вы можете не смотреть ТВ и не заглядывать в И-нет, вы можете плеваться, видя, как молодежь ругается, не стесняясь, пьет, обнимается и целуется в самых разнообразных местах… Вы можете с гордостью вспоминать о своих молодых годах и говорить, что были совсем другими. Любое НОВОЕ время

приносит изменения, эти изменения не всегда во благо. Мудрые люди стараются понять и принять их. А если не принять, тогда, наверное, нужно бороться? Но за это-то великая литература обычно не берется, для этого есть совсем другие средства.

Впрочем, читайте сами! Заранее приношу читателю извинения за некоторую дерзость высказываний и бойкость стиля 23-летнего автора, однако существенно менять генеральную линию произведения я не имел ни сил, ни желания. При этом небольшую стилистическую правку и модернизацию финала моралите, конечно же, провел. В путь!

Декабрь 2003 г.

Часть 1

из которой читателю становится ясно, с кем предстоит иметь дело в течение ближайшего часа

Темный закат надвигался на отсвечивающий еще июньский лес, делая жизнь таинственной и нескучной. Возле ярко пылавшего костра, в глубине небольшой сосновой чащи, сидело пять студентов политехнического института и вяло перебрасывалось интересными, но ничего, увы, не значащими словами. Каждый студент, понятное дело, имеет свой облик, одежду, но – многое утратилось, многое позабылось… Попытаемся, однако. На первом бревне располагался пятикурсник ЧИП-а Дрон Вулич, лысоватый и пошловатый тридцатилетний дядька в довольно сильных очках, по чистой случайности не путаемый в стенах родного вуза с профессурой. На его изможденном лице был тот налет провинциального романтизма, который отличает пьяниц и неудачников. Рядом сидел его младший девятью годами брат, который по воле насмешницы Судьбы учился в том же вузе всего двумя курсами младше. Гашик был совсем не похож на своего разбитного братца, имел стройное спортивное тело, задумчивый, но не простоватый взгляд синих дымчатых глаз и вьющиеся от природы светлые волосы. Пожалуй, только носы у братьев были абсолютно одного калибра, да еще манера говорить, неизбежно перенимаемая младшим у старшего. Третьим на бревне был главный разливальщик сей компании двадцатилетний Лёня Прен, довольно худой, темноволосый и очкастый субъект, ошибавшийся при розливе напитков крайне редко, да и то – неизменно в свою пользу.

На другом бревне сидели: ловелас и рубаха-парень, белокурый и симпатичный Антон Яблочкин, по кличке Яблоч, с своей неизменной гитарой и сэр (условно, конечно!) Гаррик Хож, здоровый, мордатый, черноволосый и уважаемый сокурсниками мэн с блестящими, точно нарисованными темными усиками и сверкающими глазами нильского крокодила. Гаррику на вид было года двадцать три-двадцать четыре, а приглядевшись, ему можно было дать и все тридцать, однако никто никогда не интересовался его возрастом: учится человек и учится, кому какое собачье дело! Хож был сокурсником Дрона и подлинным лидером этой компании, его обычно слушали и особо не возражали… Да, читти, чуть не забыл – Яблочкин был сокурсником младшего Вулича, а вот чьим сокурсником был Лёня Прен теперь уже и не скажешь. Да и Бог с ними… Итак, студенты сидели и перебрасывались

ничего не значащими словами. Вылазка не удавалась: песни были спеты, анекдоты и смешные случаи из жизни в основном рассказаны, водки выпито уже прилично, а баб не было… и быть уже не могло. Вот и повеселись тут, читатель!

Давно задуманная и, можно сказать, любовно подготовленная вылазка не удавалась по ряду причин: сначала Яблочкина подло «пробросила» его новенькая и, по его мнению, целенькая пассия, обещавшая было поехать с ним на природу, но в последний момент передумавшая, видимо, поостерегшись совместной с Антошей ночевки в одной палатке; потом Хож за два дня до отъезда в пух и прах разругался со своей «гражданской» подругой Лизой; а затем, в самый последний момент, к отходящей с Билибинского вокзала электричке заявилась не слишком симпатичная, но определенно «дающая» надежды девушка Тоня из 708 комнаты студенческой общаги и вяло сообщила обескураженным туристам, что одна ее подруга, собиравшаяся с ней ехать, неожиданно заболела, а вторую не отпустил ее парень («козлина»), и что сама она таким образом тоже отламывается. Гаррик Хож, правда, совершенно не удовлетворился этим заявлением и потребовал, чтобы Тоня в таком случае отдувалась за подруг одна, но та, прищурив наглючие глазки, покачала головой, важно сплюнула, чуть не угодив на кеды младшего Вулича и ушла не попрощавшись. Одним словом, двенадцать бутылок водки, пять вина, две трехлитровки пива и несметное количество разнообразной и вкусной закуси предстояло оприходовать пятерым друзьям в совершенно мужской компании на берегу славного озера Соснового, что в Пестровградском районе Билибинской области (а ведь ты был там, читатель, что ж греха таить!).

Гитарист Антошка, перекосив свое симпатичное рыльце, сказал было, что отрывных девчонок везде хватает, в том числе и на Сосновом, а с его гитарой… Но друзья вежливо попросили его замолчать, а старший Вулич даже матюгнулся на весь вагон. Поезд тутукнул, и невеселая компания отправилась к месту летнего отдыха. С горя уже в пути была распечатана и распита одна бутылка водки, а с пивом, увы, и вовсе покончено.

День, впрочем, прошел относительно удачно. Поставили обе палатки, набрали сухих веток на весь вечер, раз пять или шесть окунулись в озере, плотно пообедали и выслушали наставления Лени Прена, что больше двух пузырей за простой обед он не выставит или пусть его уволят. Сыграли в волейбол «на высадку», прошвырнулись по окрестностям – справа был детский лагерь «Искорка» с весьма недружелюбными охранниками, а слева, километра через два от них, турбаза «Медик». Словоохотливый

Яблочкин и симпатяга Хож даже сумели познакомиться с парой медсестер, отдыхавших здесь, но те были в компании и на вечер уже имели свои планы. В шесть часов старший Вулич пошел прогуляться в направлении «Искорки» и даже забросил удочки в сторону загоравших на понтоне симпапопистых то ли воспитательниц, то ли вожатых, но дамы проявили к состарившемуся на студенческой скамье донжуану полное безразличие. Однако, одна из них как бы вскользь заметила, что через пару дней у них будет Последний костер и, может быть, тогда их мужская компания кстати… Но тут старший Вулич решил наблюсти этикет и сделал вид, что намека не понял.

В восемь вечера начали шумно готовить ужин – Хож собственноручно сделал салат из свежих огурцов и помидоров, Гашик Вулич наоткрывал с десяток рыбных консервов и трехлитровку домашнего компота, Яблочкин искусно нарезал сыр и колбасу, а Леня, кулинар-искусник, соорудил нечто похожее на плов из тушенки и отварного риса. Когда поставили кипятиться воду для чая, старший Вулич, в подготовке ужина активного участия не принимавший, громко скомандовал: «За стол, бычары!» Ужинать сели где-то около девяти, вокруг было уже гораздо свежее, чем днем, но появились недруги всех туристов – камарильи комаров, которые своим жужжанием несколько портили настроение студентов, и так довольно неоптимистичное. Впрочем, три бутылки водки, ушедшие, как говорится, влет, сделали свое дело, и беседа поначалу оживилась. Яблоч рассказал несколько занимательных историй из своей жизни, несколько их приукрасив и выставив себя в самом выгодном свете. Дрон высыпал весь свой запас свежих анекдотов и дополнил его несколькими смешными историйками из жизни всем известных знакомых. Леня, как обычно, больше помалкивал, впрочем, не вынимая «Примы» изо рта, слушал очень внимательно, да знай себе наливал да выпивал… Скромняга Гашик, решив не отставать от «старших», вывалил одну придерживаемую, пикантную историю про юную девушку, желавшую остаться невинной до свадьбы, но не устоявшую перед напором студента ЧИП-а, который использовал хитрость, а в конце поздравил падшую девчонку с ее новым положением, добавив при этом, что сам он женится только на «честной». История была им слышана от знакомого по общаге – бывшего сокурсника, уехавшего из Билибинска два месяца назад и клявшегося, что все рассказанное им – чистая правда. Однако аплодисментов Гашик не сорвал: Дрон вообще рассказ проигнорировал, а Хож, зевнув, обвинил младшего Вулича в плагиате. Задетый Гашик предложил сэру рассказать что-нибудь поновее, и наш крокодилоглаз несколько

задумался. «Эти молодые целки только трепаться любят, а как поцелуешь иль зажмешь – на стенку лезут и по морде запросто могут треснуть, – неожиданно поделился опытом Дрон. – Я тебе, Гашик, предлагал Настюхе из 307-й как следует впендюрить, а ты ей только „привет“ да „как твои дела?“ … Какие там дела, от нее за полкоридора – несет. А как тебя увидит, аж слюнки текут!». Гашик швырнул в костер сухую ветку, резкий пламень костра чуть было не ожег его не в меру распоясавшегося братца. «Целки, пацаны, они разные бывают, – философски изрек Гаррик Хож. – К ним особый подход нужен. И тогда, если получится… они тебе все сделают! Все, Гашик, ты меня слышишь?»

Тут и Леня посчитал нужным высказаться по данной проблеме: «У меня во дворе одна тусуется, лет пятнадцать ей, не больше… Как-то бухой домой приехал, сразу не пошел… сел на скамейке, возле пузырь портвейна поставил, время – часов двенадцать или больше, ноябрь был. Башка трещит, думаю еще – сейчас батя хайло разинет, маманя подключится. Тоска… Сама сучка подошла, подсела: тыры-пыры, что вы, Леонид, тут сидите, когда так холодно. Ну выпили с ней! Помацал ее, всяко-разно, по пьяни… У нее маманя вечно в разъездах, она по полмесяца одна стебается, да уже и не одна, наверно. Сама говорит мне, жмется по-полной: „Леонид, если хочешь, пойдем ко мне – отдохнем, у меня и догнаться есть чем“. Думаю: молодая еще, вдруг залетит? И я, как фофан, ее за фейс взял и говорю – мол, ты, сучка, в каком классе-то учишься? Она мне: „Тебя это е…?“ А я, блин, по пьяной лавке пошел буром: мол, где твоя совесть, у тебя там поди и волос-то еще нет, бессовестная, и все такое… Она вообще обалдела, от меня отскочила, заревела! В общем, дала это самое… линьку, потом месяца два со мной не здоровалась. Сейчас опять начала, сучка вшивая, вытанцовывать».

Гаррик очень внимательно посмотрел на Прена: «Влип, очкарик? Тебе девка прямо на улице предлагала, а ты!». Дрон тоже осудил Леню за нерасторопность и заодно уточнил, как дела у его юной соседки. Гашик задумчиво покачал головой и тихо спросил: «Леня, может быть, она в тебя тогда влюбилась, а?» Леня зевнул и открыл пузырь «Пшеничной»: «Дело давнее. Давайте стаканы, че трещать по-пустому». Гашик сочувственно вздохнул.

Яблоч, который уже знал эту душещипательную историю, предложил коллективно спеть, с ним все согласились и поначалу довольно бодро исполнили популярные песенки про берег с илом и долгожданную поездку в Комарово. Потом они до кучи грянули «Скворца» и «Новый поворот» дедушки Макара, которого особо почитал в компании Дрон, «Иванова на остановке» Боба (впрочем, точные слова знал один лишь Гашик) и даже «Гаудеамус игитур»

в собственном варианте. Потом и это надоело. На часах было около одиннадцати, водки, закуски и вина было еще предостаточно, спать, определенно, не хотелось, даже комары уж не так досаждали, но… Яблочкин наигрывал на гитаре мелодию популярной тогда «Ламбады», сочетавшей в себе, по его мнению, яркость лампочки и темноту лобка. Откуда-то слева раздалось громкое женское пение на тему: «Миленький ты мой!»… Хож и Дрон тут же сделали стойку, но пение очень скоро сменилось гром-ким пьяным смехом, где певшие женские голоса близко соседствовали с совсем не певшими мужскими. Гаррик вздохнул и закурил – раз в пятой за ужин. Компанию ему составили Дрон Вулич и Леня. Антоша заиграл особенно жалостно, как бы надеясь затронуть нечуткие женские сердца. Хожу это не понравилось, он попытался ногой зацепить гитариста за опорную ногу и свалить его на еловую землю. Антоша огрызнулся, но играть перестал. Воцарилась нехорошая в таких ситуациях тишина. И как любит это Федя-бесовщик, вдруг…

Дальний отблеск костра пал на две одиноко стоявшие фигурки, черт знает как здесь очутившиеся. Смелые стьюденты забеспокоились – места эти были не совсем безопасны в плане набегов окрестной шпаны. Гаррик вскочил, прихватив с земли топор, Яблочкин отложил в сторонку гитару и полез в карман за складным ножичком, а Леня Прен моментом припрятал стоявшие прежде открытыми всем взорам пузыри с водкой под свое объемное гузно. Дрон Вулич, сидевший к фигурам ближе других, привстал и охрипшим голосом спросил: «Эй, мля, кто там? Че надо?». Фигурки зашевелились с тенденцией к исчезновению. Гаррик Хож, разглядев комплекцию незнакомцев, резко рявкнул: «А ну-ка идите сюда! Да резче – вам говорю!». «А мы и так идем,» – раздался в глухом лесу серебряный голосок какой-то девочки, и к догоравшему костру медленно приблизились две очаровательные крошки, словно сошедшие с глянцевой картинки о пионерском лагерьке. Первая из них, лет 16 на вид, была невысокой особой с длинными темными волосами, удачно обрамлявшими ее симпатичное личико, стройными ножками, закатанными в черное трико, и довольно привлекательными ручками, элегантно обозначенными из-под коротковатого свитерка в синюю и белую полоску. Одной рукой нимфетка уверенно упиралась себе в бочок, а другой – придерживала за худенькую лапку вторую девочку, совсем еще зайчонка на вид. Второй нимфетке было **на вид** не более 14 лет, и сострадательный папаша Диккенс, несомненно, поместил бы ее в какие-нибудь «Большие надежды» или пыльную «Лавку

древностей», но, увы, в отличие от своих сверстниц – англичанок, наша зайка находилась в иных временных и географических условиях. Мордашку нимфетки украшала незамысловатая челка (в школе таких обычно дразнят «елка» или «пчелка», а бандиты-мальчишки лезут к ним класса с третьего), сзади волосы были стянуты в пикантный пучок, карие глазки девочки стреляли, «заценивая ситуацию», а несколько приоткрытые губы были чересчур уж алы. Сиреневая плотная майка с длинными рукавчиками явственно подчеркивала неопределенность юных форм, ножки нимфы были закованы в грубоватые отечественные кроссовки, закатанные штанишки песочного цвета едва прикрывали славные коленки. Наперсницы демона Камаля стали в нескольких шагах от студентов и, ничуть не струсив, нагло смотрели на потрясенных мужичков. Молчание становилось немного неудобным, и развязный Яблоч прервал его вопросом:

– Здорово, телки! Заблудились, чай?

– Здорово, гитара! Чай, не заблудились, – отреагировала старшая из девочек, блеснув блудливыми глазками. – Хотели песенку послушать…

– Че сразу-то не подошли? – строго спросил мощный сэр Гаррик и бросил топор на еловую землю. – В партизанок играете?

– С партизанами знаете, как поступают, – начал Яблоч.

– Так получилось, извините, – быстро ответила старшенькая и посмотрела на Хожа с гораздо большим вниманием, чем на Антуана.

– А че так поздно по лесу шатаетесь? – продолжил допрос Гаррик Хож. Младшенькая нимфа тяжко вздохнула. – Не боитесь найти приключений на свои задницы?

– На наши задницы… – начала было старшая нимфетка, но ее неожиданно прервала своим заявлением младшая.

– Мы в «Искорку» приехали на пару дней… С мальчиками своими, козлами, поссорились… – нимфетка снова вздохнула и посмотрела на подружку. Та едва заметно кивнула ей. – Вот… ищем, кто приютит!

– Так чего же мы стоим-то, – старина Дрон соскочил с насиженного бревна и запрыгал возле девочек, как кот возле попавших в засаду мышек, проявляя отеческую заботливость. – Садитесь, девчонки, ешьте, пейте – вон чай еще не остыл… У нас и согреться есть чем!

– То-то, я смотрю, ваш товарищ все пузыри себе под жопу спрятал, – усмехнулась старшенькая и, увернувшись от рук Дрона, прошла ко второму бревну, встав возле Гаррика. Все, кроме Лени, громко рассмеялись.

– Это я-то? – от обиды Леня Прен подскочил и неудачно

столкнул с бревна в костер свои модные очки-капельки. С тихим шипением он полез выручать их.

– Славно ты! – ржал больше всех волосатый Дрон. – Ну, Леня, ну ты х…

– А как зовут девушек? – спросил, дождавшись остановки, Хож и внимательно посмотрел на рядом стоявшую нимфетку.

– Нас-то? – переспросила дивчина, встревоженная взглядом сэра Гаррика. – Меня – Надя, а это моя сестра… двоюродная Люба.

– Как здорово! – взвился Вулич-старший и показал на Гашика. – А у меня тут брат есть младший, только он еще мальчик. – Стьюденты снова заржали, а Гашик прилюдно послал Дрона куда подальше.

– Это ничего, это можно исправить, – подала реплику маленькая Люба и подмигнула Дрону. Тот заржал, схватил девчонку за правую руку и чуть дернул в свою сторону, предлагая сесть рядом с ним.

– А все же вы, собственно, откуда? – настойчиво продолжал допрашивать партизанок Хож. – В лагере-то вас не хватятся?

– А мы, собственно, от верблюда! – разошлась Любочка не на шутку. – Вот так вот, если что.

– Малышка, ты прикрой рот, пока тебе не сунули! – Хож пристально взглянул на пристроившуюся на бревне нимфетку. – Я ведь, кажется, и не тебя спрашивал? – Любка растерянно кивнула.

– Она больше не будет, – пообещала за подружку Надежда и уселась рядом с Гарриком. – На будущее, чтоб не спрашивать такой порнятины: мы приезжие, мне шестнадцать, Любке – поменьше, маму-папу любим, Родину бережем, гуляем, когда захотим. Бывает, покуриваем и…

– И это самое, да? – оживился Яблоч и хлопнул себе по коленке.

– Это самое, гитара, тебе не грозит! – обрезала хама Наденька и снова посмотрела на Хожа. – В лагере не потеряют, не бойся.

– Мы тут всего с часок посидим и пойдем потом, – пискнула в ее поддержку подружка.

– Ого, да девочки не промах, хорошие девочки, – Вулич-старший, как бы «резвяся и играя», поприжал малышку и что-то отдельное шепнул ей.

– На таких хороших и положиться можно! – скаламбурил Прен, который нашел свои очки невредимыми и весьма повеселел от этого.

– Лучше на костер положись, – заметила ему Надежда. – Кто-то тут чаю предлагал, не так ли? – Дрон соскочил с бревна и кинулся к ведру с полуостывшим пойлом.

Хож достал пачку сигарет «Интер» и предложил Наде, она кивнула и взяла одну. Яблочкин наиграл пару аккордов, а все уяснивший Леня извлек из-под себя непочатую бутыль «Пшеничной».

– Так значит, вы в школе учитесь? – младший Вулич в упор уставился на Любку, так как между ними временно не было его донжуанистого братца. Девочка закивала. – М-да, было время… Я любил литературу и историю, а ты?

– Химию, наверно, – Люба хмыкнула и пожала плечиками. Этот поворот разговора ей явно не нравился.

– А по литературе счас, что проходите? – продолжил диалог Вулич.

– По литературе? – Любка заметалась. – Мы это… про басни этого как его, черта! – очевидно, последние воспоминания о дрянной литре относились у нимфы к «Волку и агнцу» Крылова. – А че такое? Че за допрос?

– Мы вообще-то летом литру не проходим, – пришла ей на помощь Надежда, красиво выпустив изо рта дым колечками. – А вот весной задавали «Войну и мир» читать… Так вот, редкое свинство – писать такие толстые книжки!

– А-а, это граф Толстой: плавали, знаем, – важно подключился к беседе сэр Гаррик, слывший в компании за интеллектуала.

– Лев Толстой – как х… простой! – внесла свою лепту в разговор о русской классике непритязательная Люба. Негромкий смех Хожа, Лёни Прена и Яблочкина стали ей заслуженной наградой.

– А ты не читала, так помолчи! – рассердилась почему-то Надька.

– Ну, девчонки, вмажем? – появился Дрон, который слазил в палатку за дополнительными стаканами и бутылью портвейна. – От винца-то грех отказываться. – Лёня меж тем уже разливал водку в пять бокалов.

– Налей-ка мне водки, а ей вина, ладно? – решила Надежда, предварительно взглядом посоветовавшись с покрасневшей Любкой. Дрон неожиданно подпрыгнул и взвизгнул от удовольствия. – Только много не надо.

– И я вина хочу, – неожиданно заметил Гашик. – Меня от водки мутит.

– Мешать не стоит, Гашик, – важно заметил Леня. – Пей беленькую до конца, а то последствия будут…

– Налей вина, я сказал! – громко сказал Гашик.

– Есть, налить вина дамам! – ерничал Вулич-старший и, лихо открыв зубами бутылку портвейна, наполнил оба принесенных

стакана до половины.

– Ну, и за что же выпьем? – спросила Надя, которой таким образом достался использованный стакан Гашика с водкой.

– Наверное, за неожиданную и такую приятную встречу? – встрял Яблочкин и через колени Хожа полез чокаться с приглянувшейся ему Надеждой.

– Встречу с продолжением! – попутно заметил Леня Прен.

– За быструю и конкретную любовь! – предложил свой тост Дрон и, не сдержавшись, чмокнул Любку прямиком в незамысловатую челку. Та взвизгнула и чуть не уронила свой стакан; Гашик угрожающе пробурчал что-то в сторону.

– За то, чтоб каждый из нас был сегодня счастлив! – сказал сэр Гаррик и звонко чокнулся с улыбнувшейся ему Наденькой.

– За то, чтоб хук стоял и дети были! – на весь лес взвизгнул Прен, заржал и первым осушил свой бокал. За ним не спеша выпили остальные.

Настроение у нашей великолепной семерки, как ты, читатель, заметил, значительно улучшилось. Леня, решив не прерывать процесс, тут же наполнил стаканы по-новой, Дрон налил полный стакан Любке и немного подлил Гашику, который даже не допил свое вино до конца. Надя, оглядевшись, поправила свитер, придерживаясь при этом за плечо Хожа, затем встала и предложила тост за «*наше короткое лето и нашу долгую любовь*», стьюденты ее шумно поддержали, а распоясавшийся Дрон снова чмокнул нимфетку – на сей раз в щечку. Любаша сделала Дрону какое-то замечание, после чего, даже не дождавшись положенного чоканья, бомбанула стакан почти до конца. Остальные братья и сестры во нощи все же стукнулись бокалами и дружно хряпнули… Закусив тем, что еще оставалось на расстеленной у костра клеенке, герои разговорились так живо, будто были знакомы не полчаса, а, как минимум, пару месяцев.

Вот тебе и пример живой непосредственности молодежи, хмурый читти!

Развеселившийся Дрон, обжимая за талию Любашку, снова развлекал компанию бесконечными анекдотами про Чапаева, Сталина, Брежнева, Мужа с Женой, Тещу и Зятя. Девчонки заливисто смеялись, друзья-студенты, за исключением Гашика, тоже, хотя они уже слышали сегодня все эти байки, а сэр Гаррик, решивший не терять времени попусту, попутно вел свой диалог с довольно нехитрой, что уж тут греха таить, девушкой Надей. Было выпито и по-третьей и по-четвертой: Яблочкин, схватив гитару наперевес, в который раз исполнил шлягер про берег с илом, причем почему-то поменял довольно уместное по смыслу песни слово «песок» на совершенно неуместный «сосок», но лишь

сорвал дополнительный аплодисмент. Гашику вдруг стало плохо от вина, и он тихо отлучился в кусты привести себя в порядок. Наденька совсем уж прилегла на Хожа, который в свою очередь, на спрашиваясь, забрался ей под свитер. А Любка, совершенно развеселившись, зачем-то натянула на свои симпатичные ножки грязный пакет и начала было рассказывать какую-то вольную историю из своей пионерской практики, по ходу сбилась и громко заржала. Потом она без предисловий сама полезла целоваться к своему сомнительному кавалеру, который был весьма доволен таким развитием сюжета. Леня Прен, в отличие от Гашика и Яблоча, тоже был доволен таким раскладом, так как в связи с убытием младшего Вулича пил он не только за себя, но «за того парня» тоже.

Наверное, прошло не менее двух часов после начала этого безумного винопития, когда крошка Люба, по ногам которой уже не раз и не два бегло проскочила рука клубничника Дрона, уронила предложенную ей сигарету в костер и вдруг объявила: «Нам это, пора уже! Нас в лаге… гере раз! И потеряют…» При этих словах она распустила свои светлые волосы, неуклюже открыв заколку, и попробовала встать, но неожиданно повалилась на тихо сидевшего справа от нее Гашика, который едва успел подхватить нимфетку за талию. Ехидный Яблочкин, гитаристские способности которого оказались не оцененными, немедленно прокомментировал падение: «Нахрюкалась зараза!» Дрон поспешил своей новообретенной пассии на помощь и с трудом освобождал теперь ее от пресловутого грязного пакета, в котором находились ее открытые между штанишками и кроссовками ножки.

«Я от комаров их туда, от комаров…» – оправдывалась полупьяная нимфетка и, беспрерывно встряхивая челкой, почему-то обвиняла в своем неожиданном падении Гашика, который, как позже выяснилось, был ни причем абсолютно. Лёня, упившийся до чертиков, вдруг громко захохотал, сотрясая тихий лесной воздух, Надя уже в открытую «сосалась» (тут, читатель, прости, но и слова-то другого не подобрать) с могучим и тоже в меру пьяным Хожем. Лишь Гашик хмуро смотрел на всю эту нелепицу с видом разочарованного философа.

Инцидент быстро замяли, и девочки стали действительно собираться куда-то, хотя Дрон Вулич настойчиво предлагал своей партнерше не пороть горячку и пойти с ним в палатку, где у него припрятана еще одна бутылка порто. Несколько протрезвевшая Любка настойчиво рвалась куда-то вперед, убеждая старшего Вулича, что в «Искорке», из которой как-то уже возгорелось пламя, их могут потерять и тогда… При этом она почему-то

упорно показывала Дрону на свою старшую «сестру», приводя это как важный аргумент. Надя, выпившая, но вполне способная здраво рассуждать, которой надоела эта истерика, подошла к Любке вплотную и что-то резко сказала ей; та моментально приткнулась. «Чтоб я тебя, мелкая, еще раз потом взяла с собой!» – разочарованно рявкнула она подруге и повернулась к Хожу. – «Ладно, пошли! Нам вообще-то к родственнице надо – она тут на станции живет. Проводите?». Разумеется, Гаррик и Дрон быстро кивнули.

Что-то горячо обсудив, братья и сестры выпили на посошок, причем Люба на этот раз разумно отхлебнула из стакана совсем немного, а остальное выплеснула в кусты, но попала почему-то на джинсы удалившегося отлить Антоши. Тот грязно выругался и заметил, что в Сосновом нет спасенья от двух вещей: от комаров и пьяных шлюх. Девочки благоразумно решили, что это замечание к ним никак не относится. Провожать нимфеток навяливался было и наш неопытный Гашик, но его услуги были так дружно отвергнуты двумя выделившимися парочками, что он скис и потерянно опустился на еще теплое от задниц его брата и понравившейся ему девицы бревно. Леня немедленно налил другу портвейна из новой бутылки и предложил выпить на брудершафт, но младший Вулич отказался.

По парам наши персонажи отправились в свой последний, перед окончательным слиянием путь. То ли станций, где жила Надина родственница, было несколько, то ли мелкая Любка все же настояла, чтоб ее доставили именно в «Искорку», однако парочки через пять минут разбрелись в совершенно разные стороны смешанного сосново-елового леса, где, читатель, так легко заблудиться неопытному малышу. Через несколько минут голоса Дрона, Гаррика, Нади и Леночки естественно слились с ночными шумами… Проводив удачливых приятелей жадными глазами, оставшиеся откровенно загрустили, и Яблоч немедленно принялся за исполнение песенки собственного сочинения о друзьях-предателях и несчастной любви. Гашик, пошатнувшись, встал и взял игруна за плечо, пьяно заметив ему: «Антошка, если Дрон ее вые…, я его убью! Ты понял меня, а? Она же такая еще…». Яблочкин, положив гитару на колени, с трудом освободился от цепких рук безутешного Гашика и мотнул головой в сторону леса: «Они же просто шлюхи, Гашик! Ты что не понял? Если он ее сделает, я похлопаю ему в ладоши».

Леня Прен, поглядев на небо, с чувством выпил порцию водки, закурил Примачка и важно заметил: *«Человек полагает, что он свободен, если ему дозволено поступать произвольно, но в произволе – то, пацаны, и есть главная причина несвободы!»*. Гашик

сразу переместил свое внимание на Прена и задумался. «Это Гегель, пацаны, но как точно сказано!» – пояснил Лёня и выдул изо рта целое облако дыма. А ведь у него, алкаша, все ж было «отлично» по философии, что там говорить! Яблоч устало зевнул: «Пора спать, че тут комаров кормить?».

Гашик рухнул на бревно и обхватил голову руками. Возле едва дымящего костра стало совсем тихо и скучно.

Часть 2

из которой читатель узнает, как весело проводили время два студента и две нимфетки

Старый потасканный лев институтских дортуаров Дрон Вулич недолго проводил разведку на предмет любовных желаний Любы-маленькой, почти сразу приступив к лобковой атаке. Добравшись до первого подходящего пня в глубине лесочка, где уж точно никакого намека ни на «Искорку», ни на «Медик» не было, студент основательно уселся на него и водрузил Любку к себе на колени. Продлив поцелуй девчонки до предельно возможного, Дрон, не забыв сунуть неуместные теперь очки в карман рубашки, без долгих подходов и обильных средневековых рассуждений принялся стаскивать с нимфетки пресловутые желтые штанишки… Первые секунды Любашка не знала, что и сказать грубоватому кавалеру, однако когда толстые и жадные пальцы старшего Вулича вовсю загуляли по ее маленькой и неглубокой «ласочке» (*привет мистеру Лоуренсу*!), нимфетка нашла нужным возмутиться:

– А че это ты… эй-ой, там делаешь?

– Молчи, молчи, сучушка… Получай удовольствие, – тихо шепнул нимфе похотливый Дрон и продолжил поступательные движения рукой.

– Да что вы делаете! – взвизгнула Любка, переходя, как и положено в разговоре со старшими, на «вы». – Немедленно перестаньте!

– Счас мы трахнемся (*чмок!)* по-быстрому, и я отведу… – Дрон в экстазе припал влажными губами к ее пряным волосам. Люба бешено замотала головой. – И я отведу тебя в твой лагерь. Поняла?

– Не согласная я… понял, козел? – заскулила попавшая в переплет милашка.

– Почему это? – удивился Вулич.

– Во-первых, я еще девочка… – при всей пикантности своего положения Любка попробовала устроиться на коленях партнера удобнее и даже начала загибать свои маленькие пальчики. – Во-вторых…

– Ах, ты тварь бесстыжая! – искренне возмутился Вулич. – Девочки, между нами, ночью спят, а не шастают по лесу с пьяными мужиками. – Парень от души похлопал левой рукой нимфу по загривку, правая же осталась там, где была. – Теперь ясно тебе?

– Да, но… Я заблудилась, мы, то есть… – нимфетка, чувствуя, что шансов уцелеть практически не остается, напоследок пыталась апеллировать к русской сказке про Машу и Мишу. – Тебе же потом уроют за это…

– Ой-ей-ей! – Дрон просто возмутился таким неуместным использованием национального фольклора. – Да как тебе не стыдно-то?!

– Мне стыдно? – озадачилась Любка.

– А кому, мне? Ну и нравы у вас…

И то правда, читатель, если нимфетка Люба еще отдаленно могла напомнить сказочную девочку, шатавшуюся по лесу днем и ночью и забиравшуюся в чужие хоромы, то клубничник Вулич менее всего был похож сейчас на добродушного сказочного медведя. Дрон, пылая страстью, рывком извлек Любку из ее узковатых штанов, попутно стащив и кроссовки с уже ослабленной шнуровкой, и попытался отбросить их в сторону, затем весьма аккуратно стянул с девчонки ярко блеснувшие в темноте светлые плавки, не взирая на некоторое сопротивление с ее стороны. Лишь после этого стьюдент принялся расставаться с собственной одеждой. Извернувшись, взбешенная нимфетка с досады цапнула Вулича за правое плечо, но Дрон этого почти не почувствовал. Поправив рукой вздыбившуюся плоть, Вулич осторожненько стал насаживать на нее партнершу, что нежное бормоча при этом.

– Ай-яй-яй! – нимфетка завизжала, потому что жезл жизни Дрона уже грозил плотно войти в ее небольшое темное отверстие, опушенное «нежным мхом юности». – Вот увидишь, Дрончик, что я…

Что же такого там должен был увидеть Вулич, так и осталось загадкой, читатель! Но то прискорбное обстоятельство, что и следа невинности не обнаружил Дрон в сей забавной *девчёнке*, никакому сомнению не подлежит. Посох Вулича уверенно пересек границу, прежде разделявшую его и юную Любочку, и тела наших не слиянных прежде героев согласно забились в едином ритме плотской любви. Подскакивая, Любка постанывала и даже что-то выкрикивала, а Дрон грузно вторил подружке, получая от процесса бешеное наслаждение. Подробности, читатель, мы можем тут смело опустить.

…….

– Ну как тебе? – поинтересовался старик Вулич у Любкиной спины, закончив движения и оросив мощно вылетевшей из него струей соседние кусты и фрагмент желтых штанишек, валявшихся возле пня. – Ничего?

– Ничего-то ничего, свинюга, – тяжело дыша, ответила его упарившаяся партнерша. – Ты посмотри: все штаники мне испоганил! Меня мать за это точно прибьет…

– За что – за секс, что ли, – обеспокоился Дрон. – Так ты ведь, киска, не скажешь, так ведь?

– За штаны, идиот! – крикнула нимфетка, уже соскочившая с Дрона и, насколько позволяло ее кошачье зрение, рассматривавшая пострадавшие штанишки. – Ты только посмотри на них, свинюга!

– Мы их почистим, – ободрил ее Вулич и убил пару комаров на своих лапах. – Почистим, помоем и выбросим в помои. Ха-ха!

– Ты досмеешься у меня, – буркнула девица. – Паскудство одно… А плавари мои где?

– Счас отыщем их, – Дрон надел очки и посветил зажигалкой. – Вон они лежат, родимые… Кто их на хрен возьмет? – Прикрыв свои ноги джинсами, Вулич с удовольствием закурил.

– Ага, как же, – Любка собрала свое барахлишко в кучу и, немного подумав, снова залезла на Дрона, в бешенстве сбросив его штаны на землю. – Дай-ка покурить! Ну че ты…

– Может, тебе дать… – Дрон что-то ласковое шепнул нимфе на ушко.

– Как же, разбежалася! – Люба вытащила из Дронова рта сигарету и сделала пару сильных затяжек. – Мне такие вещи не нравятся, понял?

– А какие тебе нравятся? – Вулич потрепал девочку по загривку и уверенно положил другую свою руку на знакомое место соединения двух стрел. – Ведь ты еще хочешь?

– И хочеца, и колеца, и мамка не велит! – развязно пискнула Любка и поерзала на Вуличе. – Он у тебя что там, уснул?

– Счас мы его, подлеца, разбудим! – Дрон снял очки, аккуратно положил их на джинсы и, немного сдвинув нимфетку в сторону, обеими руками, так сказать, взялся за новое дело.

– И зачем я тебя, Дроша, без ума полюбила? – фальшиво вздохнула Люба и потерлась мордашкой о грудь Вулича.

– Ладно, зайка, ты не страдай, – Дрон, немного поработав, радовался своей локальной победе. – Готово! Давай-ка, разворачивайся в марше…

И Любка, оставив нелепые сомнения и словесные кляузы, не заставила себя долго упрашивать. Скачки в лесу продолжились.

Тем временем, пока пара за номером 1, предавалась низменным страстям в глубине леса, парочка номер 2 забавлялась тем, что швыряла с бережка Соснового мелкие плоские камушки, добиваясь того, чтобы они подпрыгивали на

водной глади. Конечно, Гаррик Хож предпочел забрасывать что-нибудь другое и вовсе не в озеро, однако первая попытка найти с Надей в прибрежных кустах общий канал коммуникации закончилась полной неудачей. А причина была самая прозаическая: в кустах оказалось столько комариной швали, что Хожу пришлось спешно ретироваться; он едва успел застегнуть штаны, но успел получить три комариных укуса в задницу. Распалившаяся Надя пыталась было убедить партнера в полезности подобных укусов, но протрезвевший крокодилоглаз так не думал и честно сообщил старшей нимфе об этом. Поэтому пока бросали камни.

«Интересно, как там твой Дрон с моей Любкой? – спросила кавалера Надюша. – Поди страдают?». Гаррик равнодушно пожал плечами: «Дрон – парень терпеливый. Только, думаю, твоя сестра для него чересчур мала». Надька хихикнула и заметила: «Она маленькая, но очень… удаленькая! Сделает все, как надо». Гаррик внимательно посмотрел на Надьку: «Вот как?» Она снова прижалась к Хожу, он определенно ей нравился. Сэр Гаррик решил, что ситуация с Леной и Дроном его особо не касается, и снова бросил камень, но тот подпрыгнул лишь дважды и свалился на дно. «Ну, считай!» – крикнула девушка и «замочила блинчик» так, что раз пять или шесть он проскакал по Сосновому. Надя, казалось, совсем не замечала плохого настроения партнера и раз за разом обыгрывала Хожа в умении так сказать разбрасывать камни.

«Вот гребанный лесок!» – подумал мэн, начитавшийся перед вылазкой Юношеского журнала. Шутя и играясь, наши герои постепенно добрались до какой-то купалки с двумя отдельно стоящими выжималками. То ли это была купалка упоминавшегося лагеря «Искорка», то ли наши герои забрались вообще черти куда… Любовники зашли на понтон и по предложению сэра Гаррика закурили. Девушка с интересом глянула вверх: все небо было сплошь усыпано звездами, наверняка, можно было бы разглядеть любое созвездие. Надька потерлась мордочкой о плечо Хожа и спросила: «Я тебе нравлюсь, ведь так?». Гаррик выпустил дым, прижал девчонку к себе и неопределенно ответил: «Вы мне сразу не так уж и нравитесь, вот когда поближе узнаю…». «А ты хочешь узнать поближе? – Надя бросила и до половины не докуренную сигарету в сторону. – Правда, хочешь?». Гаррик пожал плечами: «Конечно же, что спрашиваешь?». Нимфетка загадочно улыбнулась и показала Гаррику на небо: «А знаешь, что значит такая яркая Венера?» Хож помотал головой, а Надя обняла парня за талию и сказала: «Это значит… это значит, что я тебя люблю!». Сэр Гаррик внимательно

глянул на нимфу и промолчал.

Надька повертела головой и заметила вдруг те самые кабинки для выжимания мокрых трусов. Она посмотрела на Гаррика и снова глянула на ближнюю кабинку. Мысль девушки была быстрее, чем полет стрелы Амура. Она дернула Хожа за рукав и показала на выжималку: «Может, там будет лучше?» Гарик усмехнулся: «А если придут купаться, тогда что? Или охрана услышит?». Надька обняла джентльмена и лукаво спросила: «Может, друг, ты уже расхотел? или…» Хож сделал последнюю затяжку, щелчком отправил сигарету в воду и решительно повел дивчину к кабинке. Как не вспомнить, читатель: «И девочек наших ведут в кабинет…». Кажется, комаров здесь действительно было поменьше, но следовало торопиться. Торопливо пристроив Надин свитер на нужном уровне, шустро спустив ее трико почти до лодыжек, Гаррик расстегнул свои брюки – все стояло, как и должно было стоять в таком случае. Надя застонала и снова полезла целоваться, от нее резко пахнуло смесью перегара и дешевых духов; Хож поморщился, но приготовился честно закончить начатое. Два пальца мэна погрузились уже в весьма вместительное лоно юной Нади, уже стоны нимфетки несколько приглушили ее не слишком приятные испарения, подъятая плоть сэра готовилась уже начать свое поступательное движение вовнутрь, как вдруг… «Ого, кажется, в говно встали», – прошелестел в кабинке нежный девичий голосок, явно разрушая тихое очарование летней ночи. Что тут сказать, читатель…

Все упало в тесной кабинке, как непременно заметил бы тонкий психолог и прекрасный писатель Лев Николаевич Толстой. От себя добавим, что так, как выражался в этот момент Хож, он не ругался с армейских времен, когда на полевых сборах ему чуть не прострелили правую ногу. Надя ему вовсю сочувствовала, но сама в дерьме побывать не успела. Выскочив из выжималки, джентльмен бросился к озеру и принялся отмывать в воде опоганенные западные кроссы фирмы «Адидас», ему было очень тошно и несколько обидно. Надя стояла сзади и что-то говорила, пока Хож железным баритоном не попросил ее заткнуться. Вскоре кроссовки были очищены от … сами знаете чего, заодно Хожем были тщательно промыты нижние концы брюк, а затем и сами руки аккуратно вымыты. Надька, снявшая свою обувь и убедившаяся, что она чистая, охала и ахала, сидя на купалке и болтая ногами, но Гаррику почему-то казалось, что в душе нимфа весела и просто издевается над ним. Мэн почти с ненавистью глянул на девушку – она ему почему-то уже совсем не нравилась: губы слишком толстые, улыбка ироничная, ножки и

вымя, конечно, ничего, но вот мыться ей, между нами, нужно почаще. Крокодилоглаз не к месту вспомнил запомнившееся ему место из одного стихотворения какого-то француза: *«Но помните, и вы, заразу источая, вы трупом ляжете гнилым// Вы, солнце глаз моих, душа моя живая, вы, лучезарный серафим!»*. Прямо про нее, эту лесную подружку. И вообще, почему они оказались у них так поздно; где-то ведь они шмонались все это время?

В душу Хожа стала закрадываться тревога. Гаррик поднялся и с кроссовками в руках тяжело взошел на купалку: окунуться или не стоит? Надя меж тем сняла свитер, повесила его на поручень и завязала снизу: «Эй, сэр, окунемся что ли?». Хож внимательно глянул на нее: «Мысли читать умеешь?». Надежда загадочно улыбнулась и быстро скатала с себя трико, повесила его рядом со свитером. Хож присел возле нимфы на корточки, кроссы поставил рядом. «Давай, раздевайся! – прошелестела нимфетка. – Чтоб искупаться хотя бы». Гаррик, все еще сомневаясь, скинул джинсовую рубашку, и несколько нагнулся, чтобы снять штаны.

Надя, словно дождавшись момента, разбежалась и запрыгнула Гаррику на плечи; от неожиданности крокодилоглаз поскользнулся и упал на четвереньки. Нимфа этому только порадовалась и начала лихо на нем подпрыгивать, попутно теребя Хожа за его густые черные волосы. Ужасное подозрение закралось в душу Гарика – кто она в самом деле? Бешенство придало ему силы, и схватив нимфу за руки, он отчаянным рывком перебросил ее через себя. Надя пребольно ударилась правым локтем о доски купалки, но ее звериная натура вытерпела эту пытку. Она кинулась к не успевшему встать Хожу и, ни слова не говоря, в исступлении принялась целовать его лицо и грудь, два раза она довольно чувствительно сжала его светлую, несмотря на загар, кожу своими острыми, как у белки, зубами; с большим трудом он оторвал ее губы от себя.

Оба тяжело дышали и почти с ненавистью следили друг за другом. Наконец, Надька не выдержала первой и помахала рукой перед глазами Хожа: «Эй, ты чего перепил что ли?». Гаррик встал и поднял свои наполовину вывернутые брюки; ему очень хотелось утопить в озерце эту маленькую ведьму, но он сдержался. Надя прошептала:

– Ты меня любишь или нет?

– Зачем тебе знать это? – сухо ответил сэр нимфетке.

– Я люблю тебя, Гаррик, – одними губами прошептала страстная Надя.

– Да уж конечно…

– Как ты думаешь: я еще девушка или уже нет?

– Я стараюсь вообще поменьше думать, – заметил Хож и

пришлепнул на себе пару комаров. – Так в наши дни спокойней…

– Я уже полгода как не девушка, – зачем-то сообщила ему нимфетка.

– С чем тебя и поздравляю, – иронично ответил ей Хож.

– Так тебе по фигу, да?

– Ты пришла сюда, чтобы выяснить мое мнение? – Гаррику надоели все эти разговоры и потные упражнения. Он вплотную подошел к Наде и легким движением стянул с нее трусы. Она не сопротивлялась. – Или для этого?

– Мы с подругой пришли в лес, чтобы трахнуться со взрослыми мужиками, – откровенно процедила сквозь зубы девчонка.

– И вот ты у цели! – Гаррик нажал нимфетке на плечи, и она послушно опустилась на колени.

– Ладно, – прошептала нимфа и отдалась ему равнодушно и зло.

… Далее многоточие, читатель!

Нравственное отступление

Тебе, конечно же, жалко, досточтимый читатель, этих славных девочек, угодивших в руки пьяных студентов? Но не спеши бить тревогу по поводу как бы изнасилованной Любки и оскорбленной в своей любви Надежды! Давай, друг, разберемся в «гибельном очаровании нимфеток» (Набоков) – такие ли они страдательные и безобидные?

Инфернальная сущность нимфетства не подлежит сомнению. В той или иной мере нимфомания правит всей мужской культурой (ибо женщины ее отнюдь не создавали, а лишь иногда пользовались) и особенно литературой. Короли в легендах и поэмах предлагают своим вассалам победить драконов и завоевать для них юных невест, а позже подключаются к этому завоеванию, собственноручно (это слово неудачно, но что делать?) лишая привезенных невест невинности. По поводу прекрасной и, думается, довольно свеженькой рабыни Ахилл закатил истерику в начале «Илиады» и тем самым позволил Гомеру начать свое великое повествование. Сколько лет было юной Эвридике, когда ее укусила змея, и она в полном расцвете своей прелести оказалась в царстве Аида? Сколько же лет было Изольде, Лесбии, Маэнт, девочкам Ронсара?! Уж, наверное, меньше двадцатки, что бы вы там не шуршали!

А вспомним «Гамлета» великого Шекса: «Офелия, о Боже, помяни меня в своих молитвах, нимфа!» – как видно, и наш славный драмодел не устоял против сексуального очарования английских девчонок. Ну а великий Гете, чем же он уступит Шекспиру в превознесении нимфеток?! Сколько лет Маргарите, которой пленяется Фауст? Дружище Мефистофель точно называет в трагедии ее возраст – «менее четырнадцати лет», а иначе нужна была бы она великому ученому в образе прекрасного юноши!

Эх, что там, читатель… А знаменитые французские короли, принцы, герцоги, виконты, шевалье – кем это они пленялись на протяжении своей многогрешной жизни, кого старались затащить в свои обширные постели, кого делали своими морганатическими женами?! Уж, не нимфеток ли, читатель? Прочти наудалую пару-тройку страниц любого либерального произведения франко-литературы 17–18 веков, и ты поймешь, о чем я говорю! Об одном тебя прошу – не увлекайся чересчур Альфонсом Донасьеном де Садом, пропусти мимо глаз своих его Жюстин, Терез, Эвелин и разнообразных Жюльетт…

Первой русской запечатленной нимфеткой по праву считается Наташа Ростова графа Толстого. Старый хрен, сам

соблазнив в 34-летнем возрасте лакомый кусочек Соню Берс, не преминул вставить в свой пухлый романчик-эпопею двенадцатилетнюю нимфетку, которая уже в десятой главе 1-го тома загоняет офицера Бориса в оранжерею и бессовестно его лобызает, нагло намекая на большее… Известна любовь уже весьма зрелого Тютчева к молоденьким и доверчивым «смоляночкам», с которыми приятно поговорить о поэзии, а еще приятнее забраться в постель. Мы уж не говорим здесь о ловеласах Давыдове, Пушкине, Тургеневе и прочих Крестовских… Сей список законно продолжает Теодор Достоевский с нимфеткой Матрешей, нагло соблазнившей в «Бесах» Николя Ставрогина; а вспомнив мелькание девочек-подростков в ранних романах русского нимфолептика, нам многое станет понятней.

Льюис Кэрролл – по мнению Набокова, «викторианский нимфетолюб и педераст» – также приложил руку к доминированию нимфетства в литературе, создав два весьма сомнительных произведения с главной героиней Алисой, худой, костлявой, но жутко привлекательной нимфеткой. Алиса соблазняет на своем пути едва ли не все и всех в подземном и зазеркальном королевствах; жертвами ее коварства падают Мартовский Заяц, Бармаглот, Чеширский Кот, Болванщик и даже мирный Белый Кролик. Ну а самой подруге оксфордского профессора было всего десять лет, и остается удивляться, как же изобретателен был в общении с ней хитроумный Льюис. В англо-литературе его, правда, опередил поэт Эдгар Поэ, поимев, между объяснением математических формул, свою кузину Вирджинию, когда девочка находилась на переходе к 14 годам. После страстного романа с ней, скандальной женитьбы и, увы, преждевременной смерти очаровательной жены он поддерживал свою гибельную страсть посланиями к Эннабель Ли, Линор и Улялюм.

Однако, что же сами нимфетки?

Слово им было впервые предоставлено в романах де Сада, однако знаменитый романист, часто обвиняемый при жизни в содомских грехах, не четко различал настоящих нимфеток и просто юных греховодниц, которые смешанно присутствуют на страницах его нескучных романов. Владимир Набоков, автор, которого проблема нимфетства волновала всю жизнь, произвел выводок запечатленных «юных демонов в обличии невинных девочек» в своих текстах вроде «Камера обскура», «Лолита», «Ада, или Страсть»… Нимфетка Лолита, сработанная гением Наба в 1954 году, выскочила из великого романа и, покорив и закоренелых распутников, и мирных обывателей, и честных педагогов, и грозных мужчин с пристальными взглядами,

запрыгала в своих коротких трусиках, купленном Гумбертом бюстдержателе, где еще нечего было держать, по страницам иных книг, кинолент и журналов. Ошарашенные Кубрики, Тинто Брассы и доморощенные Пичулы принялись на свой лад тиражировать ее «нежность», и – Нимфетка правит бал! Увы, и ах…

Поэтому не оглядывайся во гневе, любезный читатель, а спокойно дочти до конца это моралите. Извлеки из него нравственные, и только нравственные, уроки для своих симпатичных, надеюсь, пока еще жен, подрастающих шустрых дочек, которых тебе стоит понимать получше, знакомых и привлекательных девушек, а также просто милых подружек! Слушай же, слушай дальше повесть «писателя-мурлыки», преемника великого Наба и светозарного Сверчка. Слушай, просвещайся и думай:

Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя…

Часть 3

из которой становится известно, что в нашем мире все непостоянно, а любовь недолговечна

Утро в июне наступает рано… Гашик, кое-как выспавшись, выбрался из палатки уже часов в пять – возле костровища молча сидели Гаррик Хож и Надька. Спросив, как дела, и получив весьма уклончивый ответ Надежды, мудрый Гашик прихватил мыло с полотенцем и отправился на озеро умыться. Вернувшись, Гашик застал у начинавшего разгораться костра и вторую пару: братец-кролик выглядел умиротворенным, а его юная подружка Люба вела себя гораздо бойчее, чем ночью. Дрон пожаловался всем на плохое самочувствие после вчерашнего, хотя по его довольной физиономии трудно было сделать такой неутешительный вывод.

– Завтракать будем? – наконец спросила у честной компании Надя. – Приготовлю.

– Что-то не хочется ничего, – вяло заметил сэр Гаррик. – Поспал бы с час…

– Чаю бы попить, – пискнула хитрая Любка. – Во рту все сушит, будто кто нагадил или это… эскадрон гусар переночевал.

– Вот и сходи сама за водой, – огрызнулась Надя в сторону младшенькой. – Не дворянка, чай!

– Про эскадрон-то ты лихо, – оценил шутку старина Хож.

– Че бесишься, Надька? Че орать-то с утра? – удивилась нимфетка. Однако она встала и пошла к озеру, прихватив с собой закопченное эмалированное ведро и ноющего Дрона.

– О, кого я вижу! – из палатки показалось заспанное лицо гитариста Антона. – Думал, Надя и Люба, уж и не вернетесь… А тут такая радость!

– Ты поменьше думай, гитара… – строго заметила старшенькая нимфа. – Вон дров нет, принес бы!

– Пошли сходим, – предложил Яблочкину младший Вулич.

– Сначала бр-р… хоть харю сполоснуть, – помотал головою Яблоч. – Потом принесу, конечно. А Прен-то дрыхнет как дохлый, вот здоровье!

Остатки ночи между тем быстро поглощались жадным до жратвы утором, скоро стало совсем светло; слева послышались дружные, хотя и не вполне трезвые голоса отдыхающих в «Медике». Надька в компании с проснувшимся Преном соорудили импровизированный завтрак на траве. Пить совсем не хотелось, но Леня все же открыл бутылку вермута и предложил желающим, каковых, впрочем, и не оказалось. Любашка, чье дуплишко

требовало некоторого успокоения в виде теплой ванны, сидела и расчесывала несколько спутавшиеся за эту многотрудную ночь волосенки. Дрон сидел рядом, тесно прижав свое бедро к девочкиному, и не слишком интересное что-то шептал ей; Любка иногда ему улыбалась, но, откровенно говоря, этот старый дядя ей уже несколько надоел. Она, выполнив просьбу, дала ему свой телефон в Лепотаево, где она якобы жила, но это, конечно, был вовсе не ее номер. Надя оживленно рассказала компании поучительную историю из жизни другой своей подруги; ее внимательно слушали только Прен и Яблоч. Прену было все равно, что слушать, а Яблочкин еще надеялся на что-то. Только, читатель, ты мне поверь – надеялся паренек с гитарой понапрасну. Утомленный сэр Гаррик задремал прямо на бревне, сложив голову себе на колени: видимо, ему снилось нечто приятное, он улыбался во сне.

В семь часов заиграли подъем в «Искорке», тишина леса окончательно была разрушена возгласами вожатых и детскими криками. Надя внимательно посмотрела на свои наручные часики: в восемь двадцать должна была подойти электричка, им с Любой уже пора – вторую ночь дома не ночуют, вот мать ей вставит за такой выезд! Она ласково посмотрела на своего дремлющего кавалера – хорошо ли, плохо, но все у них на понтоне было замечательно, правда, возвращаясь, сэр честно сказал, что продолжения не хочет, что у него есть подруга и все такое… Надька не обиделась: она девка современная, на шею вешаться не станет. Не хочет – фиг с ним, сегодня у нее один, завтра другой: романтика! Правда, он ей запомнится, будет сниться, наверное… Гаррик, словно услышав мысли нимфетки, очнулся и посмотрел на нее.

– Ну что, пацаны, спасибо за все! – Надька подмигнула Хожу. – Но пора нам и честь знать. Через час наш поезд.

– Честь-то вам, конечно? В первую очередь… – хихикнул ироничный Яблоч.

– Проводите нас? – спросила Любашка у Дрона. – Ты ж обещал!

– А-то как же… Переоденусь только, – Дрон, рыгнув, отправился в палатку.

– Эй, Гаррик, а ты? – Надежда с надеждой посмотрела на Хожа. Тот, однако, не проявил особой активности. – Чего?

– У меня знаешь… нога что-то болит! – нашелся хитрющий крокодилоглаз. – Вас Дрон доведет, тут идти минут сорок пять, не больше.

– Понятно, сэр! – Надежда отвернулась.

– А вот и я, – появился переодевшийся Вулич-старший. –

Вперед!

– Я тоже пойду, – привстал было молоденький Гашик.

– Сиди уж! – синхронно рявкнули на него обе нимфы.

– Ну как хотите… – младший Вулич махнул рукой и счел нужным обидеться.

– Пока-пока, – Яблочкин все же чмокнул обеих нимф на прощание, а Любку даже хлопнул по попе. – Приходите еще раз и в большем количестве.

– Как-нидь в другой раз, – сделала книксен Любка. – Эй, Гаррик, поцелуешь на прощание? – перед Хожем стояла красавица Надька. – Может, мы и не увидимся больше.

– Ну, если ты хочешь… – Гаррик встал и прижал к себе деву. Нимфетка, прикрыв глаза, так сильно впилась в него, что Хож едва сумел оторвать ее от себя. От неожиданности он чуть было не встал ногою в тлеющий костер.

– Спасибо тебе, прощай! – махнул рукой сэр Гаррик.

– Прощай, – Надюха кивнула. – Я буду помнить тебя, – и она, уже не оборачиваясь, пошла к Дрону и Любке, отошедшим от костра и компании метров на двадцать. Люба волновалась, опасаясь опоздать на электричку, и что-то недовольно пищала.

– Твой-то брат, Гашик, хорош: на пацанок перешел, – хмыкнул Леня Прен. – Козлина!

– Это не пацанка, это шлюха… – прокомментировал Яблоч. – Хотя целуется здорово, ничего не скажу. Жаль, что они так рано сдернули…

– Ты бы, Антуан, помолчал лучше, – крокодилоглаз, потрясенный поцелуем своей нимфы, раздумывал, не броситься ли следом? Далеко они не ушли… Да только зачем.

– Она тебе хоть минет сделала? – нашел нужным проявить познания Яблоч. – Ну че ты, рассказывай! Эти девки ведь на все готовы.

– Они чудные, чудные, чудные… – только и вымолвил немногословный Хож.

– Да пошли вы все, озабоченные! – и Гашик, осушив чей-то недопитый стакан с портвейном, бросился в палатку. – Слушать тошно!

– А ты не слушай, – хохотнул Яблочкин. – За брата обиделся…

Дрон Вулич честно выполнил свой долг, доведя нимфеток до выхода из леса; оттуда до станции было рукой подать, да и рисоваться с юными девицами на перроне опытный Дрон не желал. Встретишь кого из знакомых, потом расспросами задолбают… С Надькой попрощался чопорно, только пожав ей руку, а вот Любашку снова от души потискал, даже получил от

нее по губам за очередную сальную шутку. «Ты мне звони, – кивнула ему хитрая Любка. – Я же тебя сразу полюбила, ты знай!». Вулич важно кивнул: кто сомневается? В него и не такие киски влюблялись. Любка продолжала пищать: «Я сама, Дроша, к тебе в Билибинск приеду, ладно! Позависаем …». Дроныч раскланялся и пообещал позависать. Последний поцелуй милой подружки, тяжкие вздохи… Возвращаясь обратно к палаткам, Вулич, однако, порвал смятую пачку из-под сигарет, где был записан номер Любкиного телефона. Он был парень не промах, хитрющий Дрон, что там, читатель, греха таить.

Спустя десять минут нимфетки уже подлетали к станции железной дороги, где их ждала электричка до нужного им места на Земле. Смеясь и подпрыгивая, они заскочили в последний вагон, тут же обернувшись розовощекими школьницами, гостившими здесь у чадолюбивой бабуси. До отправления еще оставалось минут пять, и наши крошки, не слишком опасаясь, принялись живо обсуждать события минувшей ночи. Пережив такие занятные и опасные приключения, в этот момент они казались себе почти счастливыми; а ведь, может быть, читатель, так оно и было!

Объявили отправление, и девчонки с интересом уставились в окно: они прощались с запомнившимся им сосновским пейзажем, они прощались с еще видневшимся из окна ласковым озером, они прощались с двумя отличными днями и ночами, так чудно проведенными вдали от скучных серых домов в сером поселке, куда они направлялись. Лето только вступало в свои основные права, все еще можно было повторить и не раз. «Как мы их, свинтусов, сделали! – визгнула Любка, снова мысленно пробежав свои приключения, и громко расхохоталась. – Слышь, Надюха, слышь! Этот козел очкастый, мне говорит: ты мол моя маленькая лесная находка, и я влюбился с первого взгляда, а у тебе есть одна маленькая штучка… Представляешь, борзеж?». Наденька, гораздо более искушенная и несколько расстроенная поступком Хожа, вздохнула и ничего не ответила своей младшей подружке. Да и что тут скажешь.

Вернувшийся Дрон Вулич застал возле костерка разброд и шатания. Прен умотал на озеро купаться, он пропустил сегодня рассвет и очень страдал от этого. Яблоч бессмысленно слонялся по полянке, не зная, куда себя деть. Гашик, сидевший у костровища и пивший чай, только завидев лоснящуюся физиономию братца, громко заметил: «За такое сажать надо! Она же, она…» и немедленно куда-то намылился, прихватив с собой ручку и блокнот. Дрон пробовал его успокоить, но был послан

очень далеко и без хлеба. «А ты бы поменьше рылом щелкал, и тебе бы, брат, обломилось!» – крикнул старший Вулич вслед младшему…

Утомившийся Хож мирно спал в палатке, его богатырский храп явно диссонировал с красотой и свежестью наступившего июньского дня – увы, последнего в этом году. Яблочкин стал допытываться подробностей общения Дрона с Любкой, но тот только кривил лицо и уходил от прямых ответов. «Нечуткие вы с Хожем люди! – резюмировал Яблочкин. – Только о себе, паразиты, думаете… Этих шалав только так можно было на пятерых развести». Дрон выпил полстакана вермута и философски заметил: «Есть, друг Антошка, такое слово „любовь“! Ты не слышал?». Яблоч только горько поморщился: «Ну-ну, рассказывай мне про это».

Вулич-старший потер переносицу, еще налил себе, сел на бревно и важно заметил единственному слушателю: «Вот примерно такой же эпизод был у меня в деревне лет пять тому назад…». Антуан сплюнул, взял полотенце и потянулся на Сосновое: слушать теперь удачливого Дрона ему не очень-то хотелось. «Да присядь ты, Антон, сейчас вместе пойдем!» – и Вулич, ловко опрокинув в себя содержимое стакана, начал рассказывать старую «бородатую» байку, которую ему самому рассказали в пединститутской общаге пару месяцев назад и которая нас с тобой, читатель, уже ни капли не интересует. Антоша, подумав, сел на бревно и также налил вина себе; в конце концов, у них в запасе день и ночь, все еще переменится к лучшему, а у старших пацанов, действительно, всегда есть чему поучиться.

А Гашик, умненький Гашик сидел на раскидистом корне вывороченной березы, на самом берегу Соснового, и что-то быстро строчил в своем походном блокноте. События минувшей ночи отразились на нем не самым лучшим образом; он был болен, он страдал так, будто не Любку с Надькой, а именно его имели пару часов назад эти грязные «старики» Хож и Дрон. Он даже не смог заснуть, как ни старался, он не смог забыться, даже выпив много больше того, что привык употреблять.

Теперь он сочинял! Да, он не писатель и не поэт, может, это и так; но он все сейчас выразит, он даст этим милым беспомощным созданиям дельный совет, он остановит своим посланием это распутство. *«Быть бы нашим девочкам под родимой крышею, если б знать могли они, что творилось с Гри…»* с Гашиком.

И наконец… «Сочинил я здорово! – крикнул Гашик, прыгая, – и поможет девочкам песенка моя. Горячо сказалась правда в ней великая, будет эта песенка оправданьем для…».

А вот, кстати, и стишок, который мы сумели записать и доводим до тебя, внимательный читатель:

Девочка-нимфеточка, мне тебя так жаль!
Девочка-нимфеточка, зубки ты не скаль!
Люди похотливые за тобой стоят
И с тобою, бедною, спать они хотят…

Девочка-нимфеточка, ты им не поверь!
Девочка-нимфеточка, быстро закрой дверь
Ты в страну полночную пьяниц и бродяг,
Стонут где несчастные, честь свою отдав.

Девочка-нимфеточка, слушай-ка меня:
Стоит ли Ночь жалкая яркосвета Дня?!

По щекам у Гашика слезы покатились, силы в нем великие разом оживились. Слышал он в душе своей звуки благодатные, в голове роились мысли необъятные – звуки лучезарные гимна благородного… **Пел он воплощение счастия свободного**!

Воистину, благие мысли – благое дело. Здесь, друг, не стоит смеяться! Тут, читатель, пора и заплакать… ведь ты готов?

Июль 1990 г., осень 1998 г.,
Декабрь 2003 г.

Поездка в Одессос

«Итак, я был тогда в Одессе»

А. Пушкин

«Садясь на унитаз, держитесь за поручень!»

Вагонная мудрость

Нахамизм 1. Вокзальная суета

Старины, то есть молодые люди двадцати с хвостиком лет, стояли на грязном перроне маленького города и отчаянно скучали. Первый из них – полный, с круглым лицом и в очках – имел вид солидный и преуспевающий, звали его Хэнкинс. Второй мэн – довольно высокий, с непропорционально длинными руками, вытянутым лицом и рыжеватой бородкой – был тем типом, жизненное поприще которого было определить довольно трудно. То он казался солидным и сложным, то вдруг становился шаловливым и глупым. Дженкинс (а именно это имя мы для него придумали) был худ, двигался ненормально быстро и любил бездельничать.

Типы ждали здесь поезда «Билибинск – Одессос», который почему-то опаздывал. Они вспоминали отца Федора, предавшегося обычной вокзальной суете, и тонко шутили. А жизнь на провинциальной станции шла своим чередом… Тетушка с лукошком полчаса терлась о коврик перед входом в какую-то контору, грязный и заплеванный, но так и не решилась войти. Изрядно потасканный голубь вразвалку шатался по перрону, пока не вляпался в грязь. Местный старожил с опухшим от водки лицом приподнялся на скамейке, заменявшей ему ложе, осмотрел знакомую местность и зевнув, рухнул обратно. Три девицы, одетые по последней моде местного Горторга, прогуливались здесь же, обсуждая подробности чужой жизни.

«Девушки! Когда ближайший до Чикаго?» – прогремел в сонной одури провинциального Пигтауна остроумный вопрос старины Хэнка. Дамы ошеломленно промолчали, Хэнкинс подмигнул им… Но, подошедшая электричка до Билибинска унесла непонятливых девиц, и старины вновь остались одни… Прошло еще два часа. Уже начинало темнеть, и опоздание поезда становилось весьма опасным…

Из конторы, куда не вошла тетка, выпнулся человек в железнодорожной фуражке и поплелся в сторону магазинчика, едва успевая до закрытия. Хэнк сел на деревянные ступеньки конторы и стал проверять документы у входящих в нее. Впрочем, посетителей оказалось лишь двое. Первый мужик сунул под нос Хэнку какой-то сомнительный документ и прошел, второй товарищ, долговязый прыщ, так долго рылся в карманах своего пиджака, что даже вспотел. «Он вообще-то просто так тут расселся!» – пришел на выручку гражданину старина Дженк. Хэнкинс громко рассмеялся и повел могучими плечами. Сопровождаемый смехом и унизительными репликами, человек

без паспорта скрылся в конторе.

Но все кончается в мире, как и жизнь человеческая. Через сорок минут старины уже загрузились в десятый вагон пассажирского поезда, следующего по маршруту: «Билибинск – Одессос».

Нахамизм 2. В вагоне поезда

Вткавшись в крутой поворот, поезд стукнул своим железным нутром и снова набрал нужную скорость… Щемящая летняя ночь со своими удивительными запахами на секунду расступилась перед ним и поглотила его. Хотелось мчаться, смотреть в окно и наслаждаться жизнью! Но двум старинам было не до этого: их вагона номер 12 в поезде не оказалось! Еще раз проверив билеты, по которым им отводилось по нижнему месту в третьем купе двенадцатого вагона, старины, осмотрев плацкартную населенность десятого и последнего вагона поезда, кинулись на поиски справедливости, которую ищут все, но находят немногие…

Проводник вагона, пожилой одесский житель с золотой фиксой, повертел в руках их билеты, спросил, любят ли они купаться, и философски изрек: «Море любит смелых! Доедете стоя…» Хэнк обругал проводника и отправился на поиски начальника поезда. Дженк повторно обратился к за разъяснениями, но проводник посоветовал ему не поднимать кипиж в два часа ночи, пообещал утром все обустроить и, зевнув, отправился спать… Начальник поезда долго не хотел отпирать дверь своего купе, где он проводил разъяснительную работу с молодой проводницей, но, прищученный озлобленным Хэнком, пообещавшим взломать дверь, вышел и даже признал, что следить за порядком в поезде все же входит в его обязанности. Вместе с Хэнкинсом они вернулись в десятый вагон, где Дженк уже уютно расположился на трех больших сумках в проходе… Наорав на пожилого проводника, начальник все же пристроил старинушек на боковых полках девятого выгона, заметив, что свои претензии они могут предъявлять только Железной Дороге в целом.

Ругаясь и будучи взаимно невежливы, Дженк и Хэнк стали готовиться ко сну, ибо было поздненько. Молоденькая проводница откровенно хохляцкой наружности, вращавшаяся неподалеку, попала под горячую руку и была отослана за пределы не только вверенного ей вагона, но и, пожалуй, всего поезда. Проводница немедленно показала зубки и навязала старинам, как Лева Троцкий, совершенно неуместную тут дискуссию о правилах поведения на дороге. На предложение Хэнка покончить все миром и выдать белье, она оскалилась и заявила: «Шо, умные шо ли?». На что Хэнкинс развел руками и грустно ответил: «Да нет! как вы могли подумать!». В конце концов, белье было выдано, проводница удалена, а старины залегли на поделенные меж

собою полки: Дженк – на нижнюю, Хэнк – на верхнюю. Летняя ночь уже подходила к своему завершению, поезд давно спал…

Когда последний луч утреннего солнца коснулся лица проснувшегося старины Дженкинса, тот позволил себе перевернуться на своей полке и громко потребовал квасу. На это сверху послышался нелицеприятный смех Хэнка, а чуть погодя – предложение убираться к чертям! Дженкинс окончательно проснулся и, глядя на шныряющих по вагону лиц противоположного пола, загрустил: нужно ведь брюки одевать, неудобно… Откуда-то пред грустным Дженкинсом возник старина Хэнк и призвал его к подъему. «Я, пожалуй, посплю еще!» – сказал Дженк и отвернулся.

«Кто рано встает, тому бог дает!» – сказал Хэнк, достал банку с квасом и от души напился. Дженку ничего не досталось, как облизнуться… Затем Хэнк взял туалетные принадлежности и пошел занимать очередь к единственной уборной, вторую, возле своего купе, проводницы почему-то не открыли. Дженк, которому ужасно хотелось по-маленькому, заворочался, как уж на сковородке. «Вставать надо, чего лежишь, как пень!» – неожиданно заметил насупленный сосед по купе преклонного возраста, руки которого сильно дрожали. «Не ваше дело, хочу и лежу!» – огрызнулся Дженк, но все же решил одеваться. Старина всунул под одеяло синие спортивные штаны и стал мучительно их напяливать.

Проходившая мимо Дженка вчерашняя проводница хитро заметила: «Чем это вы там занимаетесь, молодой человек?». От этакого свинского вопроса у нашего героя опустились руки, но поднялось бешенство, объектом коего могла стать и означенная молодка. Старина плюнул и, присев на постели, надел-таки штаны. Старик с соседней полки, дождавшись, когда Дженк закончил эту трудоемкую операцию, немедленно указал на ошибку: штаны были надеты задом наперед. Дженк, багровея, поблагодарил деда, мысленно пожелав ему скорейшей кончины, и сел переодеваться… Покончив с этим, он взял мыло с полотенцем и бросился к туалету. Но и здесь его ждало разочарование. Навстречу ему шел благоухающий, свежевыбритый старина Хэнк и весело улыбался. Это означало, что очередь упущена и неизвестно, сколько придется ждать… Прокляв на месте подлого Хэнкинса, Дженк дошел до конца вагона и уселся на нижнюю пустую полку перед дверью, ведущей к вожделенному туалету.

Около него сидело и стояло человек семь! В числе ожидающих были две девочки лет четырнадцати, сразу же заинтересовавшиеся появлением бородатого джентльмена. Они были готовы поддержать с ним любой разговор об искусстве,

жизни и любви… Но старина Дженкинс тут же опошлил все самым бездарным образом: «Девочки! (Бедняжки заулыбались.) Кто тут крайний в уборную?». Девочки тупо уставились на Дженка и демонстративно промолчали. Это был их слабый протест против пошлости жизни, и это нужно было понять. Дженк не понял и вопрос настойчиво повторил. Он немедленно растаял в глазах маленьких героинь еще не начатого романа… Добрая старушка из туалетной очереди сказала, что последняя она, хотя девчонки могли б и пропустить, что ей за семьдесят, да и молодежь обнаглела! Дженк решил не умываться и не делать пи-пи…

Народец в вагоне поезда подобрался по большей части хороший. Люди пили чай, ели куриц и колбасу, стучали в домино, а кто-то, отрешившись от жизни действительной, погружался в жизнь придуманную: тут были и журналы, и приложения к ним, и книги серьезные, и наоборот, и даже вовсе несерьезные… Всем этим шуршала, наслаждалась и сим жила самая разнообразная публика, одетая прилично, «приятно взглянуть» и «так себе». Один брутальный хлопец был, кажется, и вовсе в трусах.

Товарищи посолидней, поднаторевшие в вопросах самообразования, хмурились и с серьезным видом углублялись в чтение «настоящей» классики, под коей они разумели Валю Пикуля и Юлю Семенова, а также обернутые в газеты издания «Зарубежного детектива». Другие проглатывали советское детективное чтиво, заполнявшее всякие «Искатели» и «Подвиги». Кто-то удовлетворялся и сатирическими статейками «Крокодила» али «Чаяна»… Лишь старины несколько выделялись из стройной картины обожателей уголовно-приключенческого мира; Хэнкинс читал толстый роман Уильяма Фолкнера, а Дженк в который раз перечитывал роман «Солярис» Лема. Очевидно, чтение весьма занимало их, так как они совершенно пропустили вопрос, с которым к ним обратился худощавый сосед с подрагивающими руками.

– Вы что-то сказали? – переспросил вежливый Дженкинс.

– Козла, говорю, давай забьем! – повторил старик.

– Козла? – изумился Дженк. – Мы вообще-то животных любим…

– Эх ты, дурдыла! – махнул рукой старичок. Другой сосед, помладше первого, одобрительно хмыкнул, в руке он держал домино.

– А что, и забьем! – крикнул с верхней полки Хэнкинс. – Или колбасу нарежем…

– Ты, что опять жрать захотел? – возмутился Дженк. Дело в том, что продукты были куплены вскладчину, а Дженк всегда

подозревал Хэнка, что тот ест много больше половины.

– Эх ты, недотепа, – спрыгнул на пол Хэнкинс. Старики загоготали, и приятель выдал Дженку не совсем лестную характеристику. – Он у нас малый глупый, но добрый!

Сообща доминошники растолковали опешившему Дженку, что «колбаса» и «козел» суть древней игры, и животного тут никто убивать не собирается, да и где его в поезде найти-то? При этом объяснении поклонники черных прямоугольников не скупились на нелестные для Дженка эпитеты, характеризующие, впрочем, скорее, его умственные способности, нежели душевные качества. Поняв все, Дженк стал изворачиваться и оправдываться: «Я пошутил, я сразу все понял… я – в аллегорическом..», но ему ничуть не поверили! «А ну играть, дурдыла!», – закончил полемику старичок-игровичок.

Дженкинса убедили превратить свою полку в ристалище для сражений, причем, пока он запихивал постель наверх, все места на его полке заняли другие. Пришлось Дженку расположиться на полке напротив, которую занимала весьма моложавая дамочка лет сорока пяти. Дама заметно обрадовалась такому соседу, и на вопрос старика о возможном беспокойстве заметила, что молодой человек на постели ей никак не помешает… Это заставило Дженка густо покраснеть и подвинуться до такой степени, что его N-ное место занимало с соседской полкой минимальный сектор соприкосновения. Это стало затруднять внутри вагонные передвижения, так как полки старин были как раз посредине вагона. Но Дженку уж было совсем наплевать на чужие проблемки.

Сама же игра в домино носила для Дженкинса характер мучительный и неприятный. Хотя он быстро уяснил ее нехитрую суть, одобрения других игроков никак служить не мог… Даже, когда ему удавалось закончить партию первым, старичок-игровичок презрительно хмыкал и замечал: «Вот ёшкин кот, и везет же дурдылам!». Дженкинс всякий раз норовил заткнуть старичку рот, но умные реплики на его замечания приходили как раз к следующей фразе старика, на которую также необходимо было подыскивать ответ. Хэнкинс, как всегда, сумел быстрее адаптироваться, к игре же он и вправду проявлял интерес неподдельный. Старики как-то сразу приняли его на «вы», в то время как Дженку все безбожно тыкали…

Первый старик, все это и затеявший, имел внешность спокойную и крепкую: седые волосы, осунувшийся, но четкий профиль, бойкие глазки. Ничто не выдало бы его преклонного возраста, кроме безнадежно трясущихся рук. Ходы старичок-игровичок делал с каким-то особым азартом и пристукиванием,

хотя вагонная полка мало подходила под доминошный стол… Второму старику было едва за пятьдесят; его поредевшие, но еще темные волосы были тщательно уложены, одет он, в отличие от старин, был по-фирме: рубашка западного производства, выглаженные брючки, кроссовки «Адидас». Старины, по сравнению с ним, выглядели ужасно по-домашнему: мятые спортивные штаны, изрядно поношенные тапочки, отечественные майки, плохо державшие краску трафарета. И, хотя провожают по уму, но встречают-то – сам знаешь, читатель…

Быстро наскучив подобной игрой, Дженк все же нашел возможность улизнуть в туалет, предоставив свое место дамочке. Пробравшись в тамбур, старина Дженк сначала отследил однообразный пейзаж за окном, затем решил закурить. Вошли двое мужчин и, не прерывая разговора, закурили по папиросе. Дженк щелчком выбил штук пять сигарет «Вега» на грязный пол тамбура, успев, правда, зацепить шестую. Из соседнего вагона, как черт из табакерки, выскочила проводница. Заметив свинство, бабенка потребовала у Дженка объяснений. Дженк тут же соврал, что не знает, кто напакостил. Проводница пообещала «отследить свинью» и начистить ему рыло, после чего исчезла. «Дали бы по морде-то, гы-гы,» – благодушно заметил один из куривших. Дженкинс взвыл и пропал в недрах следующего (не своего) вагона.

Вагонная жизнь имеет к своим открытым недостаткам еще и некоторые таящиеся до поры достоинства. К ним, безусловно, относятся: беседы с попутчиками о бренности бытия и неустроенности России, возможность несколько дней законно ничего не делать, рассматривание пейзажа за окном, прогулки по несчитанным стоянкам Великой Империи. Недостаткам тоже перечня нет: ощущение как зримого, так и незримого присутствия подле минимум трех абсолютно незнакомых пассажиров, необходимость постоянно «держаться в рамках», лишение привычного комфорта, обще вагонный туалет, вероятная возможность где-нибудь отстать и пополнить, таким образом, число жителей одного из закоулков на достаточно неопределенное время. Наконец, возможность мелочной опеки со стороны умудренных жизнью пассажиров, «мысль имеющих поучать».

Все достоинства вагонного существования обрушились на благодушествующего старину Хэнка, все недостатки – на опешившего Дженка. К вечеру, когда все более-менее успокоилось, а перспектива улечься спать замерцала в сознании достаточного количества людей, Дженк разговорился в курилке с каким-то малым лет тридцати. Малый представился коренным

одесситом и быстро тараторил что-то, не давая старине вставить слова. Жизнь пнула его далеко в сторону от родного града, но каждое лето он возвращался в «alma mater», чтоб погрустить и навестить друзей. Вскоре, изложив свою биографию, малый умолк и, поправив очки, воззрился на Дженка. Дженк молчал и обдумывал день предстоящий: сколько осталось продуктов, выйдет ли поганец дед на какой-нибудь станции, не забыл ли Хэнк адреса.

– Вы, товарищ, может, думаете, что я это так разболтался, скуки ради?

– Ничего я не думаю, – вяло ответил Дженк.

– Ну, вы, кажется, немного обиделись? – очкарик проявил участие.

– Да ну, нисколько, наоборот совсем…

– Я и говорю, в Одессосе отдых так отдых, это вам не Сочи какой-то и не Краснодар!

– «Где бы ни отдыхать, лишь бы не работать»! – изрек Дженк.

– А вы где работаете или учитесь, если не секрет, конечно?

– Не секрет! – сказал Дженк-студент и вдруг выдал почему-то. – Мы вообще-то с приятелем на работе тут, а вовсе не…

– На работе, тут в поезде? – изумился малый.

– Короче, если честно, мы из безопасности, – Дженк сделал грозный вид. – Только не сболтните никому, сами понимаете! Слушаем тут, что народ говорит, недовольство проявляет…

– А что он говорит, – засуетился хлопец. – Чего наш народ сказать такое может, нехорошее?

– Всякое люди говорят, и напрасно, – насупился Дженк.

– Да, конечно, товарищ, есть и такие, – засуетился хлопец.

– А потом болтанут такие чего не следует, а огребают-то по-полной, сами понимаете, – продолжал пугать Дженкинс.

– Извините, товарищ! Я сейчас… – очкарик дернул на себя дверь уборной. – Простите, я недолго.

– Да, пожалуйста.

Малый закрылся в туалете и не высовывался оттуда минут пятнадцать. «Эй ты, выходи, я пошутил!» – постучав в дверь, сказал Дженкинс, которому захотелось облегчиться на ночь. Ответом ему была так называемая гробовая тишина. Дженк прислушался: из туалета не доносилось ни одного звука, хотя, возможно, все заглушал стук колес… «Пусть посидит! – решил Дженк, потоптавшись у туалета, – еще бы деда сюда!». Сладкие мечты посетили старину в этот неудачный для него день, и он с легким сердцем отправился спать. Хлопец же ночью таинственно исчез из вагона.

Многие пассажиры уже улеглись, кто-то уж сопел и храпел во

сне. Другие же лежали так бесшумно, что заставляли усомниться в своем существовании… Летняя южная ночь властно вторгалась в трусливо дрожащий вагон, чтобы до рассвета держать его в своем оцепенении… Итак, все стихло, стихнем и мы.

Нахамизм 3. Одесское семейство

И вот старины в Одессосе! Портовый город сразу же обрушил на них поток шума и воя… Завывало все и вся: машины, кричащие клаксонами, люди, громко выражавшие свои мнения по самым разным вопросам, сбесившиеся трамваи и автобусы, прущие куда попало по воле своих нахальных водителей, торговцы и торговки сразу у вокзала или чуть дальше – на Привозе.

Старины взялись за свои полегчавшие сумки и тронулись, их «*одессея*» только начиналась… Благополучно миновав привокзальную площадь, Дженк и Хэнк очутились на островке зелени, где стояла пара скамеек и висела табличка с буквой «Т». Оставалось лишь выявить нужный трамвай, который бы доставил их до нужного места. Однако другие граждане, находившиеся на остановке, «ничего тут не знали», и старины стали тыкаться возле остановки, как недельные щенки возле сукиных сосцов… Номеров трамваев, едущих в «та сторона», либо не называлось вообще, либо называлось так много, что это невольно внушало недоверие. Промаявшись с полчаса, старины наконец-то обратились к одной из торговок цветами, которая давно сердобольно за ними наблюдала.

Добрая старуха пообещала сказать им, «все как есть», но при условии, если они обзаведутся букетами цветов неизвестной им породы по три рубля за каждый. Старины поломались, но желание после трехсуточной езды принять душ и завалиться в настоящую постель пересилило меркантильные соображения… Букеты были куплены, а номер нужного трамвая оказался священной «тройкой». «Ничего! Цветы тетке подарим», – грустно заметил Дженк своему приятелю в трамвае. «Мы уже приобрели тете Гере коробку конфет за пять восемьдесят!» – сообщил Хэнк. «Коробку я сам съем, а цветами пусть подавится,» – заметил Дженкинс, намереваясь уж слазить за ними в сумку. «Я те съем! – возмутился старина Хэнк, – все ей подарим!». Так они ехали остановок пять…

На шестой сообразительный Хэнк заметил, что водитель совсем не объявляет названий остановок, полагая, очевидно, в городе приезжих это делом излишним. После долгих препирательств в поход был отряжен Хэнкинс – инициатива оказалась наказуема, увы. Выскочив на очередной остановке, Хэнк, замирая от страха, бросился к первому вагончику (по глупости, старины уселись во втором) трамвая. Добравшись до кабины водителя, он просунул туда свою очкастую голову и

вопросил: «Слушай, товарищ!»… «Что, война началася?» – отреагировал веселый водила.

– Да нет! Когда будет Т-ская улица? – старине было не до шуток.

– При движении трамвая разговор со мной запрещен! – водила быстро закрыл стекло прямо перед носом старины. Пришлось ждать полной остановки трамвая.

– Так, когда остановка, друг?

– Такой остановки нет, приятель!

– Как это нет? Не в тот трамвай, что ли сели? – Хэнк был потрясен.

– Ну что ты прицепился, как энтот лист к энтой ж…?

– Понятно, а все же?

– На этой улице остановки нет, сойдешь на Гварде! Понял?

– А-а… почему на Гварде? – промычал Хэнкинс.

– Она пересекается с Т-ской, там спросите! Понял?

– А-а, так понятно все!

– Отвали, не мешай рулить… – водитель вновь поднял окошко и пропал для общения.

Хэнк выпрыгнул на следующей остановке и пересел в свой вагон уже более уверенно. Подойдя к уютно дремавшему Дженку, он, отдышавшись, сказал: «Сойдем на Гварде! Она с Т-ской пересекается». Дженк открыл один глаз и спросил: «Через сколько стопов?». «М-м… надо узнать!» – промямлил Хэнк. «А на х… ты ходил?» – удивился Дженк. «А ты сам иди туда же…». Ругаясь и обвиняя друг дружку чёрт знает в чем, старины все-таки вышли именно на Гварде и, как это не покажется досточтимому читателю странным, быстро нашли Т-скую улицу и нужный им дом. На четвертый этаж старины поднялись на допотопном лифте, и вот они уже стоят перед вожделенной дверью 31 квартиры.

Громко прозвеневший звонок немедленно вселил в наших героев радостные иллюзии, которым скоро едва не пришлось утратиться. Женщина лет пятидесяти, вполне миловидная, но несколько раздобревшая на домашних хлебах, в домашнем халате стояла в дверях и довольно хмуро посматривала на враз перетрусивших старейшин. Молчание становилось уже просто опасным.

– Мы к вам писали, тетя Гера… – промямлил родственник Геры Хэнкинс.

– Откуда, это вы писали? – удивилась дама.

– Из Пигтауна, я ваш родственник, дальние мы…

– А! Вы из Пигтауна… Припоминаю письмо!

– Вы телеграмму дали, что можно приехать! – Дженк

подключился к беседе и уверенно входил в игру.

– Это Леня телекс дала, а не я… – тетя немного подумала. – Ну, входите, родственнички, раз все же приехали.

Старины бочком протиснулись в прихожую. Хэнк торопливо вручил тете Гере два букета и мигнул Дженку, чтоб тот не тянул с конфетами. Тетя не одобрила букеты, но, вздохнув, взяла и то, и другое… Отношения несколько потеплели. Помыв руки и удостоверившись, что душ в ванной не работает, старины помчались на кухню. Тетя Гера уже колдовала возле плиты, объясняя старинам, почему питаться в столовых Одессоса им будет выгодней. Хэнк внимательно осматривал моющиеся обои «Петушок» и входившую в моду кухонную мебель, а Дженк старательно поддакивал тете Гере, входя в ее проблемы. «Так что лучше ешьте в столовой внизу, она – до девяти, а фрукты покупайте сами на рынке, у нас еще не поспели,» – закончила тетя.

– Мы со вчерашнего дня не ели, – соврал Дженкинс.

– Ну о чем речь! Садитесь, прокушайтесь на первый раз! – и тетя Гера широким жестом пригласила старин к столу.

Старины радостно хрюкнули и бросились к столу, пока еще довольно пустому. Аппетитное мясцо, извлеченное из кастрюльки, шипя и плюясь, шлепнулось на тарелку. Красные до умопомрачения помидоры были вынуты из холодильника и поставлены в центр стола. Следом сорвалась с плиты кастрюля с разваристой молодой картошкой, политой подсолнечным маслом и посыпанной укропом. Запотевшая банка свежего молока внесла нужную прохладу, забелев на кухонном столике. Черный хлеб в светлой хлебнице, нарезанный тонкими ломтиками, был открыт и также водружен на стол. Тетя Гера выдала старинам тарелки с голубой каймой и пивные кружки для молока. Осатаневшие от голода приятели бросились на еду с такой же яростью, с какой петух иногда бросается на курочку в определенные моменты своей петушиной жизни.

– А вы любите поесть, ребята! – с опаской заметила Гера, увидев, как Дженк и Хэнк шутя опорожнили наполненные тарелки и уже тянулись за добавкой.

– Мы и не только поесть! – брякнул Хэнк, заметно повеселевший после получения питания и даже снявший очки.

– Чего ж еще любите? – удивилась тетя.

– Гм-гм, тетя Гера, тут как сказать… – Хэнк несколько замялся.

– Он еще валяться на кровати любит, как свинья, – пришел на выручку приятелю Дженк.

– С кем это валяться? – игриво подшутила тетя Гера.

– А? – Хэнк покраснел. – А вы сами это… с кем живете? – неудачно сменил он направление беседы.

– Как это – с кем? – испугалась Гера.

– А-аа… – потянул Хэнк. – Ну, с мужем в смысле или как-то так?

– С мужем я живу, с мужем, – тетя Гера пришла в себя, – и с дочкой Леней, у которой, кстати, уже жених имеется.

– И хорошо, и правильно! – брякнул Дженк. – А то одному плохо, гадко даже бывает…

– Не знаю, кому там плохо, а лично мне хорошо! – и Гера недовольно поглядела на старину Дженка, который мгновенно смешался.

– Спасибо за все, очень было вкусно все, – упитанный старина Хэнк, кряхтя и сопя, выполз из-за стола.

Беспредметный разговор закончился, и тетя Гера проводила старин в отведенную им комнату. Комнатка была обставлена по-спартански и заключала в себе внушительную кровать, диванчик, тумбочку и пошатывающийся стул. Дженк тут же захватил кровать, за что был лишен приятелем тумбочки… Быстро раздевшись, старины решили хорошо отдохнуть с поезда, хотя было еще довольно рано. Вернувшаяся часов в восемь Леня, черноволосая южная девчонка, узнав о приехавших гостях, без стука ворвалась в отведенные им покои и затеяла знакомство с рукопожатиями. Два трусоватых джентльмена изрядно смущались своей новоявленной родственницы, но она не сразу покинула комнату, взяв с них предварительное обещание, что без нее они не пойдут осматривать ресторан «Гамбринус». Старины хором пообещали, и Леня ушла, пожелав им хорошо отдохнуть.

Теперь самое время сказать о семействе, в котором находились наши герои волею судеб. Главой этой семьи, безусловно, была тетя Гера. Крепкая сорокавосьмилетняя женщина, приехавшая в Одессос из уральского городка лет 25 назад, держала в своих пухлых лапках все нити управления в семье. У тети Геры были цепкие руки, громкий голос и достаточно веселый нрав. Она была второй раз замужем, работала начальницей какой-то мелкой конторы и своей жизнью, в общем, была довольна. Лицо тети Геры, правда, было несколько грубовато, но чем-то милым несло и от него.

Девушка Леня, дочь Геры от первого брака, была двадцатилетней южной девчонкой с их смелостью и одновременной практичностью. Она имела множество поклонников, работая секретаршей в офисе, но рассчитывала лишь на одного – паренька Сашу, по прозвищу Матрос. Прозвище его было не совсем понятно, так как на флоте Саша не служил, и

единственное, что его связываю с этим прозвищем, была тельняшка, купленная за десятку на Привозе. Дядя Бася (тут же перекрещенный старинами в Кабана) был когда-то русским парнем из Харькова, но, отслужив срочную в Одессосе, завис там и несколько объевреился, что выражалось в его говорке и повадках. Это был кряжистый мужик с мощными руками, совсем детской челкой на бугристой голове и ленивыми движениями, когда дело заходило о работе. Дядю Кабана хватало на три вещи – жену, работу и собаку Джульку, четвертого равноправного члена семьи.

Песик при рождении был неудачно назван Джульбарсом – сказалось влияние синематографа. Когда же ошибка выяснилась, сучку переименовали в Джулию. В обиходном употреблении это имя превратилось в Джульку. Джулия занималась тем, что на ее месте стала бы делать любая другая собачка: кушала пять раз в день, бегала по зову природы на улицу, часто ленилась и на судьбу не жаловалась. В таком «святом семействе» и должны были обитать наши старины, находясь на отдыхе.

Вечером старины вышли – немного прогуляться и хлебнуть вкусного одесского пивка… Дом тети Геры оказался неподалеку от знаменитой Потемкинской лестницы, можно сказать в десяти минутах ходу до моря. Мягкая одесская ночь постепенно накатывалась на разомлевший от жары город. Он тотчас ожил! Улицы и аллеи заполнились гуляющими парами, заиграла музыка, у ресторацій затолпились страждущие и жаждущие. Одессос быстро забормотал на своем греко-еврейско-хохляцком наречии русского языка. Бронзовый Дюк угрюмо покосился на Черное море с бороздящими его судами, тяжко вздохнул, но остался стоять на постаменте.

Об этом ли он думал, когда убеждал Катюшу обосновать сей град на совершенно неподходящем для портового города месте. Наши герои, видя «огни большого города», томно вдыхали страстный воздух Одессоса, предвкушая свою завтрашнюю встречу с морем.

Нахамизм 4. Старины в Одессосе

Ну что, читатель, ты не устал еще следить за нашими старинами? Не наскучил ты этим чтением или неявными параллелями?! Потерпи! Недолго уж старинам пребывать в этом старинном городе, воспетом и Мишей Зощенко, и любимыми моими Ильфом – Петровым, и Исааком Бабелем. В городе, имя которого я несколько изменил: а ведь ты узнал его, догадливый читатель!

Вот уже несколько дней в Одессосе жизнь старин была подчинена жесткому, если не сказать жестокому, распорядку. Они вставали, по настоянию Хэнка, в девять ноль – ноль, быстрехонько умывались, и, не поев, отправлялись в порт, где садились на первый подвернувшимся катер и мчались на первый подвернувшийся пляж. Таким образом, от времени подъема до времени попадания на морской песочек, кое-где заменяемый для разнообразия галькой, проходило от силы два часа, не более… Правда, первая встреча с морем окончилась для старин несколько печально. Нет, они не утонули и даже не попробовали это сделать, так как плавали неплохо.

Взволнованные первым видением прекрасного плескающегося океана воды, старины бросились к нему, напрочь забыв совет тети Геры о необходимости внимательно следить за своими вещами. Выйдя на берег и придя в себя, Дженк и Хэнк с изумлением обнаружили отсутствие в их вещах, брошенных на берегу, монетницы Дженка, кошелька Хэнка и складной сумки «Монтана». Все это, очевидно, стало сувенирами для бойких цыганок, прогуливавшихся между телами отдыхающих и предлагавших им пополнить свои багаж, не забывая пополнить при этом багаж собственный. Но, несмотря на это обстоятельство, старины в конечном итоге остались довольны морем!

В дальнейшем жизнь их в Одессосе мало менялась – пляж утром и днем, вечером – мудрые семейные беседы, прогулки по магазинам, посиделки с шашлычком. Леню в «Гамбринус» они так и не сводили, так как появился ее жених по кличке Матрос, а его поить и кормить старины не захотели. Кинотеатры и театр городка старин также привлечь не могли, а посещение Привоза наши герои отложили на конец своего пребывания в Одессосе. Так прошло с неделю. На седьмой день пребывания старин в древнем городе с ними произошел один забавный эпизод, который мы сейчас набросаем, читатель! Итак, сцена старин с девицами…

– Телки! – испуганно провозгласил старина Дженкинс,

лежащий с Хэнком на общей подстилке под лучами южного солнца.

– Где телки, какие? – протянул разомлевший от жары Хэнк.

– За твоей башкой, дурила, сам посмотри!

– Так подать сюда их, – Хэнкинс привстал и поднял голову. Тут же старина встретил дерзкий взгляд двух блуждающих глаз весьма бойкой девицы, обладавшей к тому же парой стройных загорелых ног, на которые смутившийся старина взглянуть уже не решился. – Здрасте…

Две девушки лет по шестнадцать были одеты в легкие, как говорили тогда откровенные, купальники и расположились на отдых прямо в головах старин, едва не касаясь их своими чудными ножками. На вид это были весьма шустрые девочки, однако, несколько все же застенчивые. Они бодро ответили на приветствие старика Хэнка и муторное заявление Дженка о хорошей погоде. Дальше девицы предоставили инициативу в беседе сильному полу, пояснив, что: «Так, на пляж, наконец, выбрались, одни сегодня»…

Старины перемигнулись и затеяли живой и весьма умный разговор меж собою. Они говорили о любви в произведениях Назона, Боккаччо, Аретино, Мопассана и некоторых других, причем цитаты из их произведений приводились с завидной точностью. Милые крошки решительно навострили свои ушки и придвинулись ближе, видимо, заинтересовавшись беседой об искусстве. Однако спор, задуманный первоначально для обольщения девушек, неожиданно принял крутой характер и грозился перейти в элементарное мордобитие. Старины принялись вдруг награждать друг друга отнюдь не элегантными эпитетами и сравнениями, а девушки отвернулись, заскучав…

Дженк и Хэнк давно поняли, что их разговор принял черт знает какой характер, но поделать с собой ничего не могли: никто не хотел уступать. Меж тем, трусовато поглядывая на орущих, на весь пляж, старин, к девушкам подсели два длинноволосых подростка и стали устанавливать контакт несколько по-иному. Подростки очень уж быстро принялись хватать девиц за всевозможные части тела и что-то интимно им нашептывать. Сначала девушки негромко выражали свое возмущение, апеллируя к старинам, однако те никак на это не прореагировали. Тогда девочки успокоились и, перемигнувшись, в свою очередь принялись хватать молодых людей, громко смеясь и не совсем воспитанно выражаясь. Старины прекратили никому не нужный спор о Боккаччо и затеяли новую перебранку: «Они для того сюда и пришли, да?» – «А ты бы бздел поменьше!» – «Да пошел ты…» – «Я-то пойду… купаться, а ты стереги тут вещи, конечно, а не

этих!»

И старина Дженк ловко вскочил и быстро побежал к морю. Хэнкинс остался грустить в одиночестве… Через пару минут убрались и сами девицы в обнимку с новоявленными друзьями, так и не окунувшись ни разу. И все же, несмотря на мелкие неудачи, жизнь старин протекала неплохо. Они хорошо загорели, у них несколько поубавились заработанные по пиву животики, появилась некоторая ловкость в движениях. Питались они по-разному: добывали пирожки на пляже, закусывали в одесских забегаловках, покупали кое-что в магазине…

Как-то Хэнк закупил на рынке по дешёвке полтора килограмма копченой рыбы. Придя домой, он положил рыбу на балкон, так как Герин холодильник был забит абсолютно… На следующий день копченая рыбка стала издавать резковатый запах. Тетя Гера немедленно обнаружила его источник и, призвав Хэнка, стала разбираться в свинячестве:

– Кто притащил сюда эту чёртову рыбу?

– Дженкинс! – не раздумывая, соврал старина.

– Мало, что ты этого дурня сюда привез, он еще и рыбу покупает вонючую! – тетя Гера махнула пакетом. – Выбросить!

– Нет-нет, – заволновался Дженк. – Я лучше его выкину… а рыбку мы съедим, под пиво там.

– Я в своем доме пьянок не потерплю! – пригрозила Гера.

– Никто и собир… Мы с Вашим мужем все тихо, все по-семейному!

– Я тебя по-семейному сейчас так шмякну… копытом! – почему-то добавила тетя. Он тихо заскучал.

Однако рыбу сохранили и даже положили в холод. Вечерком, под предводительством Кабана, был устроен небольшой пивной пир, и рыбка ушла в один момент…

Дни проходили, время отдыха сокращалось все более и более. Дженк и Хэнк не жаловались на это обстоятельство, ибо давно решили, что, где бы ни жить, лишь бы… Последним впечатлением от города должен был стать для старин местный рынок Привоз, где им полагалось слегка отовариться пред отъездом. Выслушав от Геры строгое напутствие о необходимости оберегать свои кошельки и часики на жульническом рынке, наши герои снялись с места утром в субботу и отправились делать нужные или не очень покупки на Привозе…

Одесский рынок сразу же захватил их в свои цепкие корявые пальцы с брильянтовыми перстнями, швырнул к своим наглым торговым рядам, затолкал в столпотворении разного рода людей, оглушил своей несвязной, но живой и богатой речью. Держась друг за дружку, старины пробирались сквозь эту толчею,

опасливо косясь по сторонам и подмечая потенциальное ворье в толпе.

Хэнкинс, первым заметив торгаша с абрикосами и персиками, внезапно пропал, бросив ополоумевшего Дженка на произвол судьбы. Быстро закупив себе этих изумительных фруктов, Хэнк пристроился к очереди, стоявшей за яблоками подешевле. Проискавший старину с полчаса Дженкинс выскочил бог знает откуда и поспешил к Хэнку: «Ты где был?»

– А, старина, нашелся? – ответствовал наглый Хэнк.

– Сейчас по очкам вдарю, козел!

– Попробуй, старина, – Хэнкинс повел плечами. – Ты не теряйся больше.

– Яблок захотел, обжора? – Дженк встал в очередь рядом с Хэнком. – Подавишься… – Очередь несколько запротестовала.

– Вставай, старина! А то ничего не купишь…

Взяв пять килограммов яблок, старины походили по рынку, но, кроме вишни, Дженк так ничего и не купил себе. «Персиков тю-тю!» – пожаловался он Хэнку. «Есть!» – Хэнкинс показал свою сумку. – «Где взял-то?» – «В п…!» – «А серьезно?» – «Их продали все уже…»– «Поделишься хоть?»– «Вряд ли!». Дженк обиделся на приятеля и несколько минут молчал. Хэнкинс вынул персик и, обтерев его, смачно стал есть. Дженк с негодованием посмотрел на него. «Вишню ешь, она полезней!» – посоветовал ему Хэнкинс. Выйдя за формальные пределы Привоза, старины очутились на барахолке – гармоничном продолжении его.

Вместо аппетитных фруктов и овощей здесь не менее аппетитно лежали и стояли юбки, костюмы, брючки, ботинки, сапожки, кроссовки, штучки (без точного определения). Старины презрительно фыркнули на юбки и другие женские аксессуары, но долго возились возле продавца маек и кроссовок. Однако на толстяка Хэнка не лезла стандартно пошитая майка в модной надписью, а большеногому Дженку трудненько приходилось в выборе штанов и туфель. Намаявшись и ничего не купив, наши герои отправились к остановке трамваев. Неожиданно на их пути оказался загорелый хлопец в фирменной куртке и попсовых очках. Оглядев старин, он улыбнулся и таинственно представился:

– Луиджи, итальяно продакшн…

– Лупиджи? – тупо переспросил старина Хэнк. Дженк же шепнул на ухо приятелю: «Мафия итальяно!». Хэнк побледнел и стал мямлить.

– Э-э, френдшип, э-э… пис ин ворлд…

– Ты что, в туалет его зовешь? – спросил Дженкинс, будучи далек от английского языка как международного средства

общения.

– Нет-с! – неожиданно Хэнк стал ерс-ать, что было бы объяснимо, если б он говорил с представителем 19 века в России, но казалось совсем неуместным в беседе с итальянцем в СССР века 20-го.

Хлопец давно понял, что имеет дело с простаками, а потому напустил на себя загадочный вид и достал из одного кармана куртки пачку презервативов, а из другого – пачку любопытных фотографий. Хэнк с изумлением воззрился на загадочную упаковку с надписью «Кондом», а Дженкинс с интересом принялся рассматривать карточки с весьма фотогеничными дамами в интересных позах.

– Червонец! – указал «итальянец» на фото.

– Да-с! – поддакнул Дженк, решивший, что иностранец выразил чувства.

– Пятачок, – итальянец, решив, что старины повелись, указал Хэнку на пачку импортных презервативов.

– Ноу! – правильно все понял Хэнкинс. – Не покупаем!

– Точно, – завизировал догадавшийся Дженк. – Ноу пей.

– Фу ты, б…, мудак! – «итальянец» вздохнул и отобрал у старин свой товар. После чего, заметив сотрудника в форме, стал тихо ретироваться в сторонку.

– Сам ты мудак, – послал ему вдогонку парфянскую стрелу осененный догадкой Хэнкинс. Дженк лишь презрительно хмыкнул.

После Привоза старины посетили центральный гастроном на знаменитой улице де Рибаса, где набрали рахат-лукума и других восточных сладостей. Потом они долго тряслись куда-то на трамвае, результатом чего стала новоприобретенная сумка Дженкинса. Хэнк, после долгих мытарств, купил-таки себе западные кроссовки и долго вздыхал, осматривая их в троллейбусе. К вечеру старины могли сказать себе: «ВСЕ!»: все покупки сделаны, билеты куплены, последний день в городе остается полностью свободным. Можно еще раз смотаться на море, занырнуть и прочесть напоследок знаменитое «Прощай, свободная стихия!» старины Пушкина.

Нахамизм 5 и последний

Хотя погода с утра и не задалась: солнца не было вообще, а облачное небо сулило хороший дождик, наши герои решили не тратить время зря. Утренние сборы не затянулись, и в десять часов старины стояли у кассы на морском вокзале, преодолев обычные двести ступенек Лестницы Любовника Екатерины. Не желая терять ни минуты, старины запрыгнули на первый попавшийся им катер и отправились на пляж. Море тоже было не спокойно: волны быстро накатывались на борта катера и с грохотом хлюпались обратно. Старины зевали и плевались в волны Черного моря…

Пришвартовавшись, Дженк и Хэнк быстро убедились, что заплыли черти куда: место оказалось им совершенно незнакомо. Они было поинтересовались у капитана катера, что это такое, но получили не очень вразумительный ответ. Робко спросив, а можно ли здесь вообще купаться, старины получили исчерпывающий ответ и двинулись к пляжу, довольно пустому. Погода почти не менялась: было пасмурно, солнце лишь изредка показывалось из-за туч. На пляже находилось человек двадцать, не более, хотя в былые дни тут яблоку некуда было пасть.

Раздевшись и удобно устроившись на деревянных ложах пляжа, старины подставляли части своих тел иногда выглядывавшему солнцу. Лезть в неспокойное море особого желания у них не было, а местное пиво уже вызывало рвотный рефлекс. Старины несколько отключились от внешнего мира, почти задремав. Их пробуждение было неожиданным.

– Оглохли что ли, молодые люди?! – Дженк открыл глаза и увидел перед собой весьма симпатичную девушку в джинсах и короткой блузке, с синей повязкой на голове.

– Чего тебе, красавица? – спросил, проснувшись, и Хэнк.

– Я тебе не красавица! За лежаки платить надо, ясно? – и девица пояснила, что за использование лежаков на пляже взимается единовременная плата в двадцать копеек за лежак.

Дженк возмутился такого рода поборами и заявил, что переберется на пляжный песочек, за который, вероятно, пока деньги не взимают. Разозленная девица сказала, что он может валяться хоть на собачьем дерьме, но за уже использованный государственный лежак должен заплатить немедленно. Дженк хитро спросил, сколько стоит использование самой девушки в качестве лежака, на что покрасневшая работница пляжа пообещала позвать спасателей. Старина почему-то не захотел встречаться с представителями столь опасной профессии и почел

за благо отдать девице взыскиваемые деньги.

Надо заметить, что за все время этой дискуссии Хэнкинс не проронил ни писка, как будто его это ничуть не касалось. Когда же девица обратилась за деньгами к нему, Хэнк сполз с лежака на песочек и заметил, что он нищий студент из Дании, не имеющий достаточных средств к существованию. Пляжная девица, вздохнув, отошла, не захотев портить нервы еще раз. Правда, уходя, она еще раз указала старине не ложиться и даже снять свои вещи с лежака. Хэнкинс повиновался, по уходу девушки статус-кво был им немедленно восстановлен.

Черное море в этот день было неприветливо и хмуро. Видимо, разлука была тяжела и для него… Дождик все-таки пошел, чем отменил необходимость для Хэнка вновь ссориться с девицей. Быстро окунувшись, Дженк и Хэнк вытерлись общим полотенцем и поспешили на отходящий катер. Попытка уже с катера прочитать незабвенное «К морю» Пушкина успеха не имела. За ревом моторов и шумом моря слов российского гения никто не услышал.

Следующий день был для старин весьма насыщенным… Сварив колбасу на дорогу, они прихватили с собой несколько картофелин, щедро пожертвованных им тетей Герой, пачку печенья и пять бутылок пива. Прощание с доброй одесской семьей также не затянулось: сказав все нужные слова, родственники полезли лобызаться. Леня действовала особенно активно, чем весьма огорчала Матроса, бывшего неотступно при ней. Отплевавшись и посюсюкав, старины наконец-то покинули гостеприимный дом на Т-ской улице, что не так и далеко от славной улицы де Рибаса.

Погрузившись на поезд (на сей раз, билеты вполне совпали с местами), наши герои грустно вздохнули, следя за уплывающим вокзалом Одессоса, и затряслись в купейном вагоне. Поездка приближалась к концу, который обещал стать удивительным… Попутчицами старин оказались на сей раз молодая дама лет тридцати с небольшим и ее двенадцатилетняя дочка. Хэнк и дама предложили старине Дженку уступить свое нижнее место девочке, на что последний никак не прореагировал, сославшись на обострившийся радикулит. Остался последний эпизод, а вот и он.

…Когда же пришло время делать вечерний туалет, старины снялись с места и, не доверяя друг другу, отправились в уборную. Людей, как назло, собралось достаточно, и каждый спешил сделать свое нехитрое дело, чтобы залечь на покой. Наконец, Хэнк дождался своей очереди и пропал в месте общего пользования. Люди в очереди, а с ними и Дженк, долго строили

самые страшные предположения, чем там можно так долго заниматься. Хэнк, однако, все же вышел, и его место поспешил занять старина Дженк.

Быстро устроившись на унитазе в позе орла, Дженкинс приступил к выполнению своего большого и важного дела. Поручень, за который следовало держаться, он, естественно, проигнорировал. Через полминуты, в самый разгар процесса, вагон вдруг резко подбросило: люди в очереди повалились друг на друга, а глупый, нелепый, беспомощный старина Дженкинс, забывший об инструкции, свалился с унитазного стульчака прямо на пол. Моментально вскочив, он тот час же увидел, что его тапочки и часть пола замазаны его же г… Лихорадочно соображая, Дженкинс надавил на смыв: в очереди послышалось радостное ликование.

Двумя листами, прихваченными совершенно для иной цели, Дженкинс лихорадочно стал вытирать увазюканный пол туалета. Выбросив изрядно потяжелевшие листочки в унитаз, старина начал нажимать на кран умывальника: в очереди стали выражать нетерпение. Вымыв тапочки, Дженк вдруг с ужасом заметил, что часть унитаза тоже обоср… Застонав, он выхватил из кармана пачку сигарет «Аэрофлот» («Летайте только самолетами!») и с ее помощью стал уничтожать остатки свинства. В очереди стали серьезно беспокоиться, кто-то уж требовательно стучал в дверь.

С взвизгом «Сейчас» старина вымыл руки и стал осматривать одежду в туалетное зерцало. В дверь уборной замолотили кулаками… Дженк еще раз осмотрелся: все вроде было в норме. Судорожно вздыхая, старина пригладил волосы и отпахнул дверь. С негодующим «Фу-ууу!» люди в очереди отпрянули в сторону. И тогда, именно тогда, в голове Дженкинса и родился тот, ставший теперь всемирно известным афоризм, который он тут же и поведал ошеломленным слушателям:

– Садясь на унитаз, граждане, ради всего святого, держитесь за поручень! Он для того и предназначен…

Очередь ошеломленно промолчала, а старина Дженк гордо проследовал к своему месту, забыв в туалете мыло и полотенце, но веруя, что их эпопее с Одессосом приходит конец! Финиш! Финал… А какой он получился – судить вам, досточтимые друзья!

Итак, наша первая повесть окончена. Как она тебе, читатель? Ты удивлен, раздосадован, взбешен?!

Пойми:

– Дрожать за жизнь и плакать о судьбе мне надоело, будь понятлив! Я мысль одну хотел запечатлеть в тебе…

– Какую, наглый автор?

– Как хорошо, что мы еще смеемся!

– Смеем смеяться?

– Да нет, уже смеемся! и смехом победим.

– Кого ж мы победим?

– Ну, это ты обдумай сам, а я прощаюсь до свиданья! Надеюсь, скоро мы увидимся с тобой!

– Я жду, я верю!

– Ну ладно…

Одесса-Чебаркуль,
июль 1988; лето 1996 г.

Набакофф

«Однажды, в беседе с одним американским писателем, его советский коллега никак не мог уяснить, почему тот не знает великого русского писателя 20 века Набокова…

Наконец американец хлопнул себя по лбу и воскликнул: „Ах, Набакофф!“.

„Вот-вот!“ – обрадовался собеседник.

„Только он не русский, а наш, американский, писатель!“.

„Позвольте!“ – изумился советский писатель.

„Нет-нет, точно! не спорьте…“.

Наступило неловкое молчание…»

Случай из жизни

Предисловие

Снежное одиночество Владимира Набокова в литературе 20 столетия многим читателям представляется загадочным, а еще большее количество людей ужасно раздражает. Пытаясь применить к жизни гения свои нехитрые житейские представления, бедные критики и записные литературоведы, за гроши подгрызающие биографии писателей, которым они смертно завидуют, отыскивают в романах Набокова все, что им хочется, и сообщают «urbi et orbi» об «*истинной сути*» творений Набокова и «*потаенной жизни*» русского гения. Жестокость критики к подлинному таланту присутствует во все века, и глупо ужасаться довольно благополучной литературной судьбе Мак Наба (в сравнении, например, с такими же гениями слова, как Вийон, Мандельштам или Рембо*)*.

Сам Набоков неоднократно проигрывал ситуацию такой «мнимой разгадки» в своих произведениях («комментарии критиков» к: роману о Чернышевском в «Даре», замечания доктора Рэя к исповеди Гумберта в «Лолите», «разгадки» мистера Гудвина в «Истинной жизни Себастьяна Найта»), оказываясь первым «обывательским» критиком собственных шедевров. Однако на критиков, писавших о Набокове в ранний период творчества, это действовало в малой степени. После признания окончательного в 1955–62 гг. (успех «Лолиты», статья Г. Грина о романе, фильм С. Кубрика) тон критики сменился, но лишь до смерти писателя… Впрочем, гению рассчитывать на единодушный вой признания в начале пути не стоит никогда. К тому же, по замечанию Д. Свифта, едва ли можно оболгать в статейке, возникшей за неделю, монумент литературы, созданный за долгие годы огромным волевым напряжением гения… Статейка умрет скоро, шедевр умрет вместе с человечеством.

Набоков, помимо писательского дара, несомненно, обладал и даром филолога; но, как писатель, он стремился познать мир в его божественной полноте и оставить именно этот запечатленный образ в своих романах. Попробуем вспомнить этот мир волшебника Мак Наба хотя бы отчасти.

Начало пути

Биографии Сирина-Набокова, составленные различными литературными бездельниками, дают самую разнообразную трактовку произведениям Набокова, но почти одинаково выдерживают биографическую канву. Сын русских аристократов – «золотое» счастливое детство – карьера филолога и начинающего поэта – вынужденная эмиграция – гениальный писатель и рядовой преподаватель в американском университете – признание романа «Лолита» и всего того, что было до нее, – Швейцария, отель «Палас», верная жена-переводчик и сын – оперный певец – кончина в 1977 году, почти не замеченная на Родине Набокова. Мемуары самого писателя «Другие берега» и «Память, говори!» дают в большем степени представление о даре Набокова, нежели о его личной жизни; вероятно, перед автором не стояло задачи «само обнажиться» (по примеру Л. Толстого или Ж.Ж. Руссо). Мы постараемся, придерживаясь биографической канвы, прокомментировать по мере скромных сил наших *ключевые произведения* Набокова и поставить свои вопросы великому мастеру «игры с мнимой реальностью». Поскольку Г. Беара стало модно обвинять в «набоковизме», постараемся несколько приоткрыть кухню автора «Лолиты», чтобы догадливый читатель уже ни за что не спутал «Новую Лолиту» со «старой»… Что же, читатель, в путь!

Владимир Владимирович Набоков родился 22 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге в семье юриста и политика В.Д. Набокова. Отец был выгодно женат на дочери промышленника Елене Рукавишниковой, и дети Набоковых жили в сказочной атмосфере красоты, не думая о несколько иной – на чердаках и в подвалах… Род Набоковых происходил, по мнению самого Набокова, от «*обрусевшего 600 лет назад татарского князька по имени Набок*». Дед Володи по отцу был министром юстиции при Александре III, а дед по матери – богатым сибирским золотопромышленником. Такая родословная и соответствующее ей состояние предполагали блестящую жизнь в России и за ее пределами для первого сына Набоковых (в 1916 г. он даже унаследовал имение Рождествено, естественно, ненадолго), но увы… Набоков рос «ребенком домашним»: дом в Петербурге, лето в деревне, заботливые гувернеры и толковые учителя, Майн Рид в подлиннике, бабочки (в смысле «насекомые»), курорты в Европе, эротические фантазии и сновидения и т. д. В 1911 году Набокова отдают в Тенишевское училище для детей аристократов: начинается период его взросления, поэтических опытов и первых

столкновений с «обществом» сверстников.

Тема «детского рая» станет одной из основных тем в творчестве Сирина-Набокова, и притягательность двенадцати-пятнадцатилетних девочек для мужчин зрелого возраста в его романах (Бруно Кречмар, Горн, герой «Лилит», Гумберт, Куилти и др.) заключена главным образом именно в их «детскости» *и* непосредственности, а не только в сексуальном обаянии. Тема счастливого детства навязчиво повторяется почти во всех русских романах и в мемуарах Набокова: наиболее автобиографично она заявлена в «Даре» и «Других берегах», есть проблески этой темы в «Защите Лужина», «Машеньке», «Приглашении на казнь». Общий композиционный блок здесь – гениальный мальчик, тонко чувствующий и относительно беззащитный, в окружении бездарно-пошлого мира, но под защитой чутких родителей или верных слуг. Тема в литературе не нова, но Набокову удалось передать очарование собственного «детского рая» со всегда его запахами и оттенками.

В училище Набоков «*учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью*», его обвиняли в аристократизме и нежелании «жить полнокровной жизнью», под коей разумелось участие в многочисленных кружках и юношеских редакциях. Впрочем, стихи свои он печатал как раз в журнале «Юная мысль». Приезжал в училище и уезжал Володя на машине, что так же не добавляло ему любви и терпимости сверстников. В «Защите Лужина» есть один эпизод из детства главного героя, когда возмущенные его необщительностью сверстники пытаются засунуть голову Лужина в унитаз школьной уборной: возможно, нечто подобное пережил в школьные годы и юный Набоков. В 1916-м училище было закончено. 3 октября этого же года Набоков издает на свои средства сборник «**Стихи»**, включавший 66 стихотворений. Позже он сам отзывался об этом весьма негативно, считая, что эту книжечку «никогда бы не следовало издавать». Критикесса Зинаида Гиппиус, сама пописывающая безобидные стишата, заметила отцу Набокова, что Володя никогда не станет настоящим писателем. Это глупое пророчество Гиппиус так и не забыла, пользовалась им всю оставшуюся жизнь. Отметим, что хотя литературный дебют Набокова не был ошеломляющим, он состоялся.

После Февральской революции, предчувствуя надвигающуюся грозу, Владимир Дмитриевич отправляет семью Набоковых в Крым. Володя сдает экзамены в Тенишёвке и надеется закончить образование в Англии. В Крыму Набоковы прожили 16 месяцев, отец вошел «минимальным» министром юстиции в Краевое правительство, и, переехав в Ливадию, Набоковы устроились

недурно. Набоков ходил в татарское кафе, обсуждал свои и другие писания с М. Волошиным, перевел для музыкального представления немецкое стихотворение… и даже намеревался вступить в Белую армию. Почему он не сделал этого? Очевидно, писательское призвание оказалось выше и важнее других его чувств – патриотических, к примеру… Когда остервенелые большевики ворвались в Севастополь, Набоков уже мирно плыл на пароходе «Надежда», увозящим в эмиграцию последних беженцев из Крыма. 28 мая 1919 г. Владимир с младшим братом Сергеем определяются в Кембриджский университет. Набоков начинал обучение как энтомолог, но затем перешел на словесное отделение Тринити-колледжа. Его пребывание там подарено одному из «автобиографичных» персонажей Наба – Себастьяну Найту: «*В Тринити-колледж его доставил с вокзала настоящий хэнсом-кэб… он ждал от Англии больше, чем она могла дать… Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна*…» и др.

Затем пребывание в колледже почти дословно воспроизведено в «Других берегах»: тьютор Гаррисон, голкиперство, прогулки под дождем, стихи, и штудии… Хорошее филологическое образование, приятные беседы и ностальгия по «ушедшей» России – вот что осталось в 'памяти Набокова за период трехгодичного пребывания в Кембридже. В октябре 1921-го Наб оказывается в Берлине: здесь его встретили мать и отец, добрые знакомые и будущие издатели. В газете «Руль» Иосифа Гессена немедленно появляется очерк Сирина «Кембридж», затем – некоторые стихи этого периода. Однако революция не оставляла русских людей даже в эмиграции, в марте 1922 года Набоков переживает личную трагедию: Борк и Таборицкий устраивают в зале Филармонии перестрелку, и пуля, направленная в лидера кадетов Милюкова, убивает отца Набокова… Мать с двумя дочерями уезжает в Прагу, брат Сергей и Наб остаются в Берлине. Необходимо было начинать самостоятельную жизнь – без ясных перспектив и гарантированных доходов.

Набоков усердно «давал уроки английского и французского, а также и тенниса… много переводил». Но главное – Наб пытается стать популярным автором, ибо даже гениальный писатель без известности и публикаций обречен на молчание… и скорую смерть. В конце декабря 1922-го в издательстве «Гамаюн» выходит книга стихотворений «Гроздь», подписанная В.Сирин. Именно этим именем Набоков станет подписывать свои художественные произведения, четко отделяя «мир Сирина» от реальности. В 1922 г. Набоков заключает помолвку с некоей девушкой Светланой Зиверт, однако брак не состоялся. В январе 1923-го

выходит новый сборник стихов «Горний путь». Оба эти сборника в меру талантливы, но разглядеть за ними будущего автора «Дара» и «Бледного огня» пока затруднительно. Интереснее выглядят переводы на русский из Кэрролла, Ронсара, Верлена и Теннисона, но это именно хорошие переводы, не более того. О поэмах Набокова этого периода лучше и не говорить: «Крым» может быть подписан именем Пушкина, а «Петербург» вообще заканчивается его прямой речью…

Это еще *время учения* Владимира Сирина, время проб, рабского подражания, поисков новых тем и собственных образов.

«Русский» период В.Сирина

Наступил 1925 год. 15 апреля Набоков женится на Вере Евсеевне Слоним, дочери русского лесоторговца (еврея по происхождению); его мать не одобрила такого выбора и до конца жизни находилась в натянутых отношениях с Верой… Был ли счастлив брак Набоковых? По ряду формальных признаков этого нельзя отрицать. Супруги всю жизнь прожили вместе; Вера, безусловно, разделяла и понимала призвание мужа, переводила его романы, вела все переговоры с издателями; именно ей Набоков посвятил все свои романы, кроме «Дара». Но… та тоска по нимфетке, которая переходит из романа в роман Набокова, возникла, вероятно, не случайно! Мы можем усомниться, что Наб любил свою жену так, как Пушкин Наталью Гончарову или Эдгар Поэ – Вирджинию, хотя проверить это затруднительно. Впрочем, в традиции русских писателей – жениться на поклонницах и верных помощницах (Лев Толстой, Достоевский, Бунин, Горький): это и удобнее, и безопаснее. К тому же не будем забывать, что за полтора года до своей смерти Наб пишет в стихотворении «To Vera»: *«Только ты, только ты – все дивилась вослед…»*, и это все объясняет, не так ли?

В 1925 году был написан и первый роман Набокова «Машенька». «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня!» – признался Иван Бунин в конце 1920-х, впервые прочитав книгу Наба. Конечно, «уложить» столь традиционных русских романистов, как Бунин и Куприн, оставшихся абсолютно глухими к новым тенденциям романистики в начале 20 века, не составляло большого труда для молодого талантливого писателя. Но важно и другое – Сирин в «Машеньке» продемонстрировал соединение лучших традиций русской классической литературы и достижений модернистской прозы начала 20 столетия. Этим романом Набоков заявил о себе как об одном из ведущих романистов времени, в «Машеньке» намечены темы его будущих великих романов: «Дара», «Лолиты», «Бледного огня». Разберем этот роман подробнее.

Большинство романов сублимативно: личная жизнь или переживания писателя кладутся в основу сюжетов. «Машенька» – роман о русском эмигранте Льве Ганине, ведущем жалкое существование в Берлине и вспоминающем о «потерянном рае» детства в России. Характерна для романа фраза: «*Он был богом, воссоздающим погибший мир…*». В романе обнажена и любимая впоследствии Набом триада тем: счастливое детство героя –

любовь к девочке лет 13–15 – попытка обрести «потерянный рай» с ней. Именно «Машеньку» можно считать первым в творчестве Сирина «*романом с девочкой»,* предшественницей «Камеры Обскуры» и «Лолиты». Жанровая находка Набокова – следствие, скорее всего, его детских переживании (любовь к девятилетней Коллетт в Биаррице) или встречи в зрелом возрасте с какой-то очаровательной дамой, едва достигшей брачного возраста. Нужно сказать, что для русских дворян 19 века женитьба на 13-15-летних девушках не казалась такой уж странной и развратной; отец Николая Гоголя Василий Афанасьевич увез свою будущую жену Марию, когда ей не исполнилось и 14 лет, а через год женился на ней. В «Онегине» Татьяне, когда она пишет свое письмо к Евгению, тоже примерно 14 лет (см. 8 строку 4 главы романа) и т. д. Правда, к концу века нравы несколько изменились, а к началу 20-го – претерпели существеннее эволюцию.

Тем не менее… Вторая тема «Машеньки» – роман о современном человеке – верность традиции классической русской литературы: Онегин – Печорин – Рудин – Базаров – Раскольников – и др. Она связана и с героем нового модернистского романа, вроде Стивена Дедалуса в «Улиссе». Набоков в образе Ганина предельно автобиографичен (как и Лермонтов в образе Печорина), поэтому его персонаж – больше европеец, чем русский. Ганин – герой в прямом смысле слова, вроде Печорина или Базарова, а не мучающийся бездельник типа Онегина и Рудина: «В его теле постоянно играл огонь…», он готов поднять бунт в большевистской России, готовность к борьбе в герое – константа! Набоков не наделяет Ганина своим писательским даром, но он явный прототип Годунова-Чердынцева из «Дара», точнее, его первообраз. Вместо бунта Ганин занят переживаниями о любимой в роковой мгле юности девочке Машеньке, он ждет ее приезда к мужу Алферову и надеется вернуть былое счастье. Но… в последний момент Ганин понимает, что «роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня – эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни… этого образа, другой Машеньки нет и быть не может».

Третья тема, романа – тема проявления человечьей пошлости, т. е. животных проявлений в несчастном порождении Бога человеке. По словам Наба, *«пошлость включает в себя не только коллекцию готовых идей, но также пользование стереотипами, клише, банальностями, выраженными в стертых словах»*. Основной персонаж – «носитель» этой идеи в романе – Алексей Иванович Алферов с его проституционной навязчивостью, «достоевщинкой» и громким оповещением о своих радостях жителей пансиона. Ганин смотрит на него с презрением, но не

может не признать за ним определенной жизнестойкости и умения «наслаждаться» бытием: любящий жену Алферов, страстно ожидая ее приезда, не находит ничего лучшего, как рассказать о девочке-проститутке, с которой он провел время незадолго перед тем. Краткое описание Алферова весьма характерно*: «полуоткрытый мокрый рот, бородка цвета навозца, мигающие водянистые глаза…».* Однако, и сама Машенька может служить примером пошлости, если брать набоковское определение: «Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи… она все повторяла…». Автор дает образец ее письма: *«И вдруг, как птица, прорежет ум мысль, что где-то тал, далеко-далеко, люди живут другой, иной жизнью…»,* да и сам факт ее брака с Алферовым кое о чем говорит. Тема пошлости будет присутствовать во многих «русских» романах Набокова.

«Машенькой» Набокова по существу заканчивается период классической русской литературы 19 века; с другой стороны, в романе есть черты **нового романа** с его цитатностью (установка на литературный код), эротической откровенностью (возвращение к роману 18 века), автокомментарием, но это пока лишь смутные, едва различимые черты. Это роман как бы перепутье, два варианта писательского пути Сирина: традиционный, классический и новый, модернистский. Писатель выбрал второй путь и стал Набоковым. Роман «Машенька», появившийся в издательстве «Слово» в 1926 г., обратил на себя внимание всей литературной братии русской эмиграции: о Сирине заговорили – в основном, в ругательных тонах. В статьях П. Бицилли, Г. Струве, З. Гиппиус и Жоры Адамовича, Ю. Терапиано анализировались набоковские приемы и темы. Появившиеся следом роман «Король. Дама. Валет», сборник рассказов «Возвращение Чорба», роман «Защита Лужина» закрепили за Сирином первенство в «молодой» эмигрантской русской литературе. Его вещи появляются уже и в немецких газетах, Наб заключает первые контракты с издателями.

Суть эмигрантской критики творчества Сирина сводилась зачастую к личностной оценке Набокова или к отказу на право считаться «русским» писателем: «*…роман „Защита Лужина“ мог появиться слово в слово в „Нувелъ Ревью Франсез“ и пройти там не замеченным*…» (Г. Адамович), «*Такой посредственный писатель, как Сирин*» (З. Гиппиус), «*Писательская техника выставлена для всеобщего обозрения…*» (А. Новик), «*Ни к какому постижению не ведущий мертвый образ жизни…*» (В. Варшавский). Однако, были в эмигрантской критике и весьма лестные оценки творчества Сирина: *«Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной… огромный русский писатель…*» (Н. Берберова), «*Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него*» (П.

Бицилли), «*Он тут же показывает лабораторию своих чудес*» (В. Ходасевич). При этом, если в словах Нины Берберовой заметно просто восхищение от талантливого писателя, то в словах Бицилли и Ходасевича уже видна попытка отметить некоторые значимые стилистические отличия Сирина от опытов других писателей-эмигрантов. Разношерстная критика делала имя В. Сирина привлекательным в глазах читателя, и это было главное для самого автора.

В 1927 году Набоков пишет две поэтические вещи, которые как бы представляют расклад его последующего творчества: «Университетская поэма» (тема – художник в окружении толпы) и «Лилит» (тема – закоренелый грешник и девочка-соблазнительница). «Университетская поэма», несмотря на явно выраженный пушкинский слог и унылый автобиографизм, отличается уже чисто набоковскими интонациями, точными наблюдениями и, местами, прекрасной поэзией. К примеру: «*Чай крепче мюнхенского пива… Прощаюсь я, руки не тыча – так здешний требует обычай… Зубрил учебники в постели, к вискам прикладывая лед… Почувствуй нежное вращенье чуть накренившейся Земли*». Все эти блестящие замечания потом – ох, как аукнутся в «Даре» и «Себастьяне Найте». Стихотворение «Лилит» – свернутая «Лолита» и полу развернувшаяся «Камера обскура»: сюжет трех этих произведений, по существу, один и тот же.

Наряду с «Расстрелом» и переводом «Альбатроса» Бодлера стихотворение «Лилит» – лучшее в лирике Сирина 1920-х гг. Блестящее начало теста: «*Я умер. Яворы и ставни горячий теребил Эол// вдоль пыльной улицы Я шел..*» – сменяется точным описанием вставшей в дверях нагой девочки (служанки Дьявола, по позднейшему наблюдению Гумберта): «стройна, как женщина, и нежно цвели сосцы…». Далее следует описание героем девочкиной отзывчивости: «*Двумя холодными перстами по-детски взяв меня за пламя… Она раздвинула, как крылья, свои коленки предо мной…*» и – непосредственно акта любви: «Змея в змее, сосуд в сосуде, к ней пригнанный, я в ней скользил, уже восторг в растущем зуде…». Затем, как и положено искусительнице, юная чаровница исчезает в самый приятный момент, оставляя героя в костюме Адама перед закрытой дверью. Концовка стихотворения обнажает стыд и грех главного героя в прямом и переносном смысле: «*И мерзко блеющие дети глядят на булаву мою*». Финал стихотворения нарочито противоположен началу текста: «*И перед всеми// Мучительно я пролил семя// И понял вдруг, что я в аду*». Замена потерянного и вновь обретенного рая на жизненный ад – основной сюжет «Камеры Обскуры» (Кречмар – Магда) и «Лолиты»

(Гумберт-Лолита).

Стихотворение «Лилит» не было издано Набоковым в Берлине, оно появилось только в 1971 году в США. Вероятно, это неслучайно: либо Набоков опасался упреков в распутстве со стороны литературной братии, либо он сознательно оставлял этот сюжет для будущих «романов с девочкой». Девочка, змея, ведьма – реинкарнации Лилит в пределах текста, то же самое будет происходить (в метафорическом плане) с Магдой и Долорес Гейз. Герой, как правило, хищен, опытен, развратен, но беззащитен перед чарами девочки-«нимфетки» (Кречмар, Горн, Гумберт, Куилти). Стихотворение «Лилит», с одной стороны, возвращая нас к темам античных и средневековых произведений (Овидий, Петроний, Катулл, Маркабрю и др.), с другой – дает новое движение романной тематике В. Сирина. Мотив подмены, ***не различения героем рая и ада*** станет в дальнейшем творчестве Набокова одним из любимых, определяющим сам генеральный сюжет произведения.

С конца 1920-х гг. Набокову «стали приносить приличные деньги переводные права моих книг» (см. «Другие берега»). В 1936 и 1938 гг. в издательствах Лондона и Нью-Йорка выходит его «Камера Обскура», причем перевод для нью-йоркского издательства Набоков сделал сам; этот роман был также переведен на французский, шведский **и** чешский языки. В 1937 г. в издательстве Джона Лонга выходит роман «Отчаяние», подписанный так – Вл. Набакофф-Сирин. Позже этот роман вышел в престижном французском издательстве «Галлимар». Набокова принимают в среду парижского культурного истеблишмента. Все это говорило о том, что Наб рано или поздно должен был сделаться *европейским* писателем, не только в плане места проживания, но **и** в языковом. Язык Шекспира и Байрона Наб узнал раньше языка Державина и Пушкина, французский язык он также знал достаточно хорошо. Тем не менее 1930-е годы становятся временем ***расцвета русского творчества Набокова***: «Камера обскура», «Приглашение на казнь», «Дар», «Весна в Фиальте», драматические опыты… Романы «Камера Обскура» и «Дар», на наш скромный взгляд, наряду с «Лолитой», «Бледным огнем» и «Истинной жизнью Себастьяна Найта» относятся к числу шедевров прозы Набокова. Другие вещи 1930-х гг. – «Подвиг» /1932/, «Отчаяние» /1934/, сборник «Соглядатай» /1938/ – менее значительны, но почти безупречны в стилистическом плане. В личной жизни Набокова также происходят кое-какие изменения: в 1934 году появляется сын Дмитрий, и Наб прекрасно справляется с ролью няньки и заботливого отца.

«Приглашение на казнь» – типичная антиутопия

тоталитарного общества, она вполне сопоставима с такими вещами, как «Замок» Кафки, «О дивный новый мир» О. Хаксли и «1984» Д. Оруэлла. В интервью А. Аппелю 1966 года Набоков сказал, что «Приглашение…» – наиболее «ценимая» им в собственном творчестве вещь. Многие русские критики и впрямь сочли эту тенденциозную повесть ***лучшей во всем русскоязычном творчестве Набокова*** (Шаховская, Бицилли, Олег Михайлов и др.). Здесь уместны два замечания: Набоков оборонялся романом «Приглашение на казнь» от обвинений в антигуманизме и снобизме, в демонстративном уходе от социальных тем; писатель действительно постарался выжать из темы – *талант, противостоящий обществу пошляков у власти* — все, что только было возможно. С другой стороны, Цинциннат Ц. – «***герой самого сказочного и поэтического из моих романов***» (Набоков), человек-поэт, вынужденный жить в атмосфере «прозрачности» и тупости общества, способный спокойно встретить смерть от руки палача, находящегося с ним в одной камере. Линия Цинцинната – наиболее удачное звено романа. Его рассуждения и сны пропитаны тем же составом, что и прошлые рассуждения Ганина, и будущие наблюдения Годунова Чердынцева в «Даре»… Вот одно из лучших мест романа: *«В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов…»*.

Остальные же герои-призраки романа (Марфинька, Родион, Эммочка, мсье Пьер) рассыпаются даже быстрее, чем того желает автор, дающий в концовке «Приглашения на казнь» театральную развязку: «*Все расползалось… Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки… картонные кирпичи…*». Образ поэтичного, остро чувствующего Цинцинната – одна из неизбежных эманаций гения, и Набоков это блистательно подметил в романе. «Приглашение на казнь» вызвало бурю оваций «передовой» европейской общественности: наступали годы новой мировой войны, обличать тиранов и тирании сделалось модно, хотя и опасно. А вот и еще одна цитата: «*Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное… и я бросил бы, ежели трудился бы для* ***кого-то сейчас существующего****, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, то заботиться мне приходится только о себе*». Почти все читатели заметили в романе пощечину тоталитаризму, но проглядели «пощечину общественному вкусу», чем изрядно повеселили ироничного Набокова.

В 1937-38 гг. в журнале «Современные записки» был

напечатан последний «русский» роман Сирина «Дар». Это блестящее по стилю произведение – итог всего «авто комментирующего» творчества Набокова до войны. Роман, в отличие от других предыдущих, так и не вышел отдельным изданием – то ли помешала война, то ли сыграла роль глава о Чернышевском, изъятая журнальными издателями. Примерно в то же время создавался на английском языке роман ***«The real live of Sebastian Knight»***. В 1938 году появляются и две пьесы Набокова – «Событие» и «Изобретение Вальса». «Событие» было даже поставлено русскими труппами в Париже и Праге, «Изобретению Вальс» повезло меньше – постановка пьесы состоялась только в 1968 г. в Оксфордском университете силами тамошних студентов. Критики отмечали «литературность» обеих пьес Наба, т. е. замечалось, что это пьесы по жанру, нежели тексты, предназначенные для театральных постановок. Однако из предисловия к американскому изданию «Изобретения Вальса» следует, что Набоков очень рассчитывал на постановку и даже сделал «замечания для господ актеров». Однако говорить о «Событии» как о событии в области русской драматургии нельзя: слишком много чеховского: чеховские герои, чеховские положения, чеховские реплики.

«Изобретение Вальса» более самостоятельная вещь, но сюжет ее весьма характерен для произведений, заполонивших мировую литературу в конце 20-х – начале 30-х гг., когда яркие взлеты Гитлера и Муссолини сделали тему «властелина мира» весьма актуальной. Вспомним хотя бы «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого, «Открытие Рафлза Хоу» А. Конан-Дойла, «Властелин мира» А. Беляева и др. Образец подобного жанра – написанный несколько ранее роман Г. Уэллса «Человек-невидимка», и набоковский «Вальс» значительно уступает ему. Идея ***всеобъемлющей власти над миром*** человека, достигшего этого только своими интеллектуальными силами, не могла не показаться Набокову привлекательной для литературной обработки. Сама действительность в это время как бы демонстрировала относительность популярности Наба: с одной стороны, признанный и читаемый писатель, с другой – сомнительное материальное положение, семья на руках, частые переезды с места на место. В своей пьесе Набоков выдал неожиданный ход – открытие Вальса, в отличие от прозрений Хоу или Гриффина, оказывается всего лишь блефом, а само действие пьесы его Сном, который одновременно является одним из действующих лиц. Диктатор не состоялся, мир может спать спокойно, а сам инженер Вальс принимается Полковником и Министром за сумасшедшего. По словам Ив. Толстого, в конце

пьесы «*все оказывается фикцией, мир рушится, валятся декорации бреда*». Именно такой финал В. Набоков к этой поре не впервые использует в своих крупных вещах.

Остановимся подробней на двух романах – «Камере Обскуре» и «Даре». «**Камера обскура**» (1931) – реализация темы Набокова «мужчина-греховодник – девочка-соблазнительница». Невинное начало романа (упоминание о морской свинке Чипи, тяжба Горна с фирмой, экспертом которой выступил Кречмар; любовь Кречмара к какой-то «незнакомке», которую он уже собрался застрелить) уже таит в себе роковую развязку. Магда Петерс – первый достойный **образ нимфетки** в романах Набокова (само слово явится только в «Лолите»), девочка-«ведьма», девочка-«соблазнительница». Вульгарность и инфернальность странным образом переплетаются в Магде; это делает ее неотразимой как для блестящего карикатуриста Роба Горна, которому на людей глубоко плевать, так и для бедного талантом, но успешного Кречмара, для которого в глупой девочке с темно-каштановыми волосами на время сосредотачивается весь его мир. И Горн, и Кречмар ищут в Магде не только славного сексуального партнера, они обретают в общении с ней тот «рай детства», которого человек лишается после определенного возраста. Начальная тема «Машеньки» предстает в «Камере Обскуре», таким образом, в несколько ином свете.

В соответствии с названием действие «Обскуры» протекает как цепь сменяющих друг друга эпизодов, как разыгранный на наших глазах фильм или спектакль. Да и Магда часто сравнивает себя /не без помощи автора/ с некоей ***фильмовой дивой***, играющей в «таинственной и страстной фильмовой драме» с участием двух своих любовников – старого и нового. Карнавальное использование Набоковым понятий «рай» и «ад», когда Кречмар жмет Магде под столом одну коленку, а Горн – другую, лишь подчеркивает сомнительную реальность происходящего. Как бы не был ослеплен любовью Бруно, он едва ли бы взял в свое свадебное путешествие постороннего человека, к тому же знаменитого! Бруно узнает о измене своей юной жены с Горном из куска романа писателя Зегелькранца – прием также довольно литературный! Далее под дулом пистолета Магда вспоминает сцену из «Отелло» – это при ее полной бездарности более чем удивительное воспоминание. Затем следует чисто фильмовый диалог: «Хорошо, я дам тебе высказаться, а потом застрелю» – «Не нужно меня убивать, уверяю тебя, Бруно!». Весь этот мелодраматический набор завершается фильмовой концовкой – странная автокатастрофа, ослепление Кречмара.

Набор этих банальных фильмовых трюков при таланте Наба

позволяет ему тем не менее держать обиженного читателя в постоянном напряжении. Последние главы романа – чудесное описание безнадежности покинутого и обманутого Кречмара. Горн имитирует свое «отсутствие», постоянно находясь рядом с Бруно и демонстративно лаская Магду. Кречмар чувствует его присутствие, но ничего не может сделать… Здесь роман «Камера обскура» впервые поднимается до трагической ноты – описывая ослепление Циклопа, творец описания сам был слепой! «Потерянный рай» Мильтона… Набоков, чутко улавливающий твердые и вечные грани литературы, умело вкрапляет их оттенки даже в свои «рядовые» романы. Не замечающий их читатель текстов Наба не видит почти ничего, лишь отсветы, темные блики в светлых лабиринтах набоковских шедевров.

Роман «Дар», по мнению большинства критиков творчества Набокова, вершина его «русской» прозы. Оспорив это мнение, скажем, что, безусловно, это второй по качеству стиля роман Набокова на русском, первый все же русский вариант «Лолиты» (1967). Три сюжетные линии, сплетаясь в «Даре», дают очень четкую картину эстетики Набокова конца 1930-х годов: линия «художника в юности» Годунова-Чердынцева, линия русской литературы в освещении автора (4 глава романа), линия детства и автобиографических намеков. «Еще летал дождь, а уже появилась, с неумолимой внезапностью ангела, радуга…» – мастерство набоковских описаний и сравнений в «Даре» достигает расцвета. Тема детства, уже изрядно заезженная Набом в «Машеньке» и «Защите Лужина» обретает совершенно новое звучание в романе: не случайно, он посвящен не жене, как обычно, а матери писателя. Образ Дома, счастья в семье, детских игр – доминанта этой темы в «Даре». Пушкиноподобные стихи, пожалуй, чуть портят впечатление, но все же и они к месту, ведь это творения «молодого» писателя (по сюжету романа). Образ Федора Годунова-Чердынцева, естественно, центральный; он выписан глубоко и с сочувствием. Годунов пишет роман о Н.Г. Чернышевском – своем литературном антиподе; вокруг этого и завязан довольно хилый сюжет с пансионом, любимой девушкой Зиной, которая вышла довольно бледно, и писательским ремеслом.

Дар – ключевое слово романа; главный герой, сам обладая им, меряет остальных людей по степени наличия в них именно этого «чудно божественного, солнечно звонкого, Богом данного» дара. Люди, заметим, как правило, подобным обладают не всегда. Одна из авторских характеристик Годунова – Чердынцева: *«Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы па преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем,*

словно на заре в мифологической роще, он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок». Почему Годунов пишет роман о Чернышевском? Потому что Николаи Гаврилович вызывает в нем понятное раздражение своей безумно кипучей деятельностью «на благо народа», своими резкими суждениями об искусстве, своей абсолютной неприспособленностью к реальной российской жизни. Не останавливаясь подробно на биографии Чернышевского, составленной «Годуновым-Чердынцевым», все-таки отметим, что она написана явно «против» автора «Что делать», хотя наполнена истинными датами и фактами. Главное, в чем отказывает Годунов Чернышевскому, – это именно наличие д а р а, а без него справиться с задачами, которые взвалил на себя Черныш, было невозможно. Именно это, видимо, и не позволило Н.Г. Чернышевскому перерасти из модного демократического критика и проповедника социалистических идей – в победоносного народного трибуна. Именно это не позволяет отнести роман «Что делать» к гениальным произведениям русской классики, хотя сам роман вышел недурно: *«Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист»*. Набоков справедливо считает гражданскую казнь Чернышевского его главным жизненным триумфом, а последующую жизнь в Сибири – «бессмысленными» годами.

Тема детства в «Даре» вновь возвращает нас к собственной биографии Набокова. Образ отца в романе важен ничуть не менее, чем образ Чернышевского, например. Константин Годунов-Чердынцев, конечно, не Владимир Дмитриевич Набоков, но многое их сближает. Память сына… «Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах, все это, думается мне, я сберегу». Воспитание, которое дал своему сыну Годунов-Чердынцев, сродни тому, что получил Андрей Болконский от своего отца в «Войне и мире» Толстого: «*Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, – и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял*». Экспедиции отца, его энтомологические открытия, его загадочная смерть – все это остается в памяти главного героя и воскресает в «Даре». Образ матери (в романе Елизавета Вежина) дан более подробно – через детское восприятие, через письмо к сыну, через цепь деталей… «Потные игры» с сестрой Таней, ученый немец с длинным носом, рай в загородном имении летом – все прекрасно, сказочно и невероятно «скушно» (поиграем здесь в старые слова вместе с автором).

Пятая глава романа Набокова начинается с «отзывов» неких

критиков о романе Годунова-Чердынцева «Жизнь Чернышевского». Разумеется, Наб тонко обыграл будущие реальные отклики на свой собственный «Дар»: «Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским…»; «…но со всем этим книга отвратительна!» (визг возмущенной бездарности); «… автор на протяжении всей своей книги всласть измывается над личностью одного из чистейших, доблестных сынов либеральной России» (попытка дать художественному тексту только политическое толкование) и т. д. В самом начале нашего эссе мы говорили уже об отношениях человекообразной критики к подлинным шедеврам литературы: не станем здесь повторяться! Итог любой критики такого рода, желаемый для автора: «Словом, вокруг книги создалась хорошая грозовая атмосфера скандала, повысившая на нее спрос…». В конце «Дара» – две ключевые сцены: описание купания модного теперь писателя, с последующей покражей его одежды, и сцена объяснения с будущей женой, а ныне невестой Зиной Мерц. «*Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес*…». Пока начинающий читатель «Дара» входит туда, мы выйдем из разбора романа Набокова.

В конце 1930-х гг. Набокова постигают два страшных потрясения. В 1937-м г., в связи с преследованием его жены, еврейки по происхождению, пришедшими к власти нацистами Набоков с семьей вынужден эмигрировать во Францию. В 1939-м умирает мать Набокова, которую он нежно любил, хотя и крайне редко виделся с ней. Уже началась Вторая мировая война, гитлеровцы, захватив часть Европы, наступают на Париж; нужно что-то срочно предпринимать. «Война идет! Война! Как вы можете заниматься подобными пустяками!..» – теребил Наба дружелюбный Марк Алданов, неплохой писатель и преданный поклонник Набокова. Насобирав деньги по богатым еврейским семействам и заручившись местом в Стэнфордском университете, которое уступил ему Алданов, Набоков с женой Верой и сыном Дмитрием спешно оставляют Париж.

В мае 1940 года последним рейсом пассажирского лайнера Набоковы покидают Францию и направляются в Америку, там их ждет место для Наба в университете и полная неизвестность.

«Американский» период. Роман на века

В США Набокова встретила не слишком знакомая литературная публика, Сирина здесь почти не знали. В Европе он оставил свою славу, свои утраченные иллюзии, свои русские книги. В США он привез готовый к печати роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта», несколько переводов на английский и множество честолюбивых замыслов. Для сорокалетнего русского писателя жизнь в большой литературе прерывалась, для «начинающего» американского она тускло светилась. Шла большая война, людям было не до искусства. По «умерший» Сирин и вновь явленный Набоков спокойно ждали своего часа! Получив вид на жительство, Набоков бросается на поиски работы – конечно, литературной. Американский писатель Э. Уилсон познакомил Набокова с нужными издателями и помог в первых публикациях. Совместно с Уилсоном Набоков перевел в 1941 г. на английский «Моцарта и Сальери» Пушкина. Сергей Рахманинов, много помогавший ему ранее, заказал Набу обратный перевод из стихотворения Э. Поэ «Колокола» для одного музыкального произведения. В Уэльслейском колледже Набоков получил неплохие курсы: английское стихосложение, история английской литературы. Параллельно Набоков проводил занятия на французском, немецком и испанском отделениях.

Но было обстоятельство, которое отравляло все эти приятные события: стать начинающим писателем в литературе, где ты много уже сделал, перейти на другой язык, хотя и знакомый, но другой… Не все писатели выдержали бы этот переход, Наб выдержал и даже значительно усилил свой блестящий стиль. В 1941 г. в Норфолке в издательстве «New Directions» выходит первый «английский» роман Набокова «***Истинная жизнь Себастьяна Найта***», роман о великом писателе, так и не получившем подлинного признания у современников. В отличие от «Дара», во многом параллельного «Найту», повествование ведется от имени **«брата писателя»**, который постоянно оговаривается, что ни его суждения, ни его «язык» не могут дать по-настоящему истинной картины жизни Себастьяна. Однако в концовке романа образ повествователя и образ героя повествования идентифицируются в один: «…маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян – это я, или я – это Себастьян, а то, глядишь, мы оба – суть кто-то, не известный ни ему, ни мне.» Образ великого писателя создается Набоковым постепенно, по ходу романа: тут и отзывы мистера Гудмэна (доброго человека) и описание внешности, и

воспоминания брата, и… даже тексты романов Найта. В «Себастьяне Найте» приводятся цитаты из текстов самого Найта, литературоведческому приему Наб придает новый смысл – вслед (или одновременно) за мастером мистификаций Борхесом. Названия текстов Найта важны и для характеристики «создателя»: «Стол находок», «Потешная гора», «Альбиносы в черном», «Сомнительный асфодель», равно как и те сюжеты, которые на ходу пересказывает повествователь.

Таким образом, Набоков приходит к одному из принципов нового модернистского искусства – не обязательно создавать тексты полностью, важно, чтобы читатель *поверил в их существование*! Ведь многие люди так и живут с уверенностью, что есть «Евгений Онегин», «Вертер», «Одиссея» или новый «Улисс», хотя никогда не читали (и не желали читать) эти шедевры человеческого духа. Да, Найта не существует, его «Сомнительного асфоделя» тоже, но, может быть, кто-нибудь подумает иначе, прочтя роман Наба без комментария?! На это и рассчитывал великий Борхес с его «Гербертом Куэйном» или «Джоном Уилкинсом». На это рассчитывает «брат» писателя Найта. Ясно, что за персонажами «произведений» Найта нетрудно рассмотреть героев самого Набокова, а за стилем Найта – стиль нового, англоязычного Сирина, но все же образ Себастьяна значительно более удалён от реального писателя Набокова, чем образ Годунова-Чердынцева, например. В «английских» романах автор или повествователь раз за разом прячется за различными двойниками, причем это происходит гораздо чаще, чем в прежних, «русских» романах. Возможно, это было следствием влияния чужого языка или следствием опасений Набокова стать «подражателем», копирайтом чужого стиля. Такой явный прием остранения будет позже использован Набоковым и в «Бледном огне», и в «Лолите». «Я родился в краю, где хладнокровно, грубо и презрительно попирается идея свободы, понятие о праве, обычаи человеческой доброты…» – пишет герой С. Найта. Примерно то же мог сказать о себе Цинциннат из «Приглашения на казнь» или главный герой «Подвига».

Финал жизни Себастьяна трагичен – как и другой писатель, только из мира, именуемого Реальность, он безнадежно влюбляется в пустоголовую женщину, не стоящую ни его, ни его творений. Мадам Лесерф с белым гладким лбом, фиалково-темными веками и бледной родинкой на щеке – избранница Себастьяна, но отнюдь не ферзь среди героинь этого романа. Бедная поклонница Клэр, вечная помощница и вечно несчастная в любви… Найт совершает в этой ситуации ту жизненную ошибку, за которую писатели, не приспособленные к жизни, платят

двойную цену. Удивительна последняя сцена романа – брат Себастьяна, думая, что сидит у постели умирающего писателя, проводит ночь с другим пациентом клиники. Себастьян же к тому времени уже умер… Вывод, к которому повествователь приходит: «*…душа – всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и следовать за ним*».

Романом «Истинная жизнь Себастьяна Найта» Набоков вошел в англоязычное литературное поле. Теперь он мог также переводить свои старые русские произведения на английский, как сделал он с «Камерой Обскурой» в 1938 г., сменив название на «Свет во тьме» (в 1969 году этот вариант романа будет экранизирован режиссером Тони Ричардсоном). Вообще «Себастьян Найт» очень близок по стилю исполнения таким вещам, как «Луна и грош» С. Моэма или «Доктор Фаустус» Т. Манна. Образ западного художника, разрыв с толпой и ценителями своего таланта, одинокая гибель – вот что категорически сближает Найта, Леверкюна и Стрикленда. Это сложившиеся, уверенные в своем гении художники, отдавшие великому искусству свою жизнь. Себастьян Найт предшествует таким героям Набокова, как Джон Шейд из «Бледного огня» и писатель R из «Прозрачных вещей», но никогда уже писатель Набоков не будет замыкаться в тексте на подробном описании только одного героя – пусть и духовно близкого самому себе.

1942 и 1943 годы проходят для Набоковых довольно спокойно, Наб утверждается в колледже и становится членом Музея сравнительной зоологии в Гарварде. Он даже получает годовую стипендию Форда как *перспективный писатель*! В 1944 году Набоков заканчивает для американского издателя биографическую статью о Н.В. Гоголе – наиболее ценимом им русском прозаике. Эпиграф из «Записок сумасшедшего», которым открывается эссе **«Nicolay Gogol»**, довольно точно передает, по мысли Наба, тематику гоголевского творчества: «За что они мучат меня?», «…дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней», «Вон небо клубится передо мной; звездочка сверкает вдали», «…с одной стороны море, с другой Италия», «Матушка, спаси твоего бедного сына… ему нет места на свете! его гонят». Пять разделов «Николая Гоголя» посвящены этапам жизни великого писателя и анализу трех его лучших вещей: «Ревизор», «Мертвые души» и «Шинель». Разумеется, как и в «Даре», Набоков по-своему интерпретирует факты жизни Гоголя, иногда набоковский стиль явно подминает под себя чисто научный анализ: «*Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания…*», «*Пушкин… под*

присмотром равнодушного, распутного царя, невежды и негодяя, чье царствование, все целиком, не стоило и страницы пушкинских стихов».

Набоков отмечает в «Ревизоре» сценическое искусство Гоголя, умение великого драматурга творить персонажей «из воздуха» – по ходу побочного действия. Это особенно заметно в мимоходом сказанных репликах Хлестакова, Городничего, Добчинского-Бобчинского. Набоков справедливо отмечает также важность авторских ремарок в пьесе: «***Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя***». Говоря о поэме «Мертвые души», Набоков на нескольких страницах своего убористого эссе рассуждает о пошлости и образе Чичикова как типе «пошляка». Набоков заставляет своего читателя лучше понять искусство Гоголя, останавливая внимание на знаменитых гоголевских ретардациях, рассеянных по роману. Он делает ряд интересных литературоведческих наблюдений по тексту поэмы: назначение картин в доме Собакевича, параллельность описании Чичиковой шкатулки и въезда в город помещицы Коробочки и т. п. О повести «Шинель» Набоков замечает, что это «***гротеск и мрачный кошмар, пробивающий дыры в смутной картине жизни***». Некоторое сомнение могут вызвать отдельные афоризмы Набокова, разбросанные по эссе: «У Гоголя такие сдвиги – самая основа его искусства», «Живот – предмет обожания в его рассказах, а нос – герой-любовник» и т. д. Хотя эти набоковские заявления и имеют свой дополнительный смысл, если считать жанр эссе полярным между научной статьей и художественным текстом. Основная, на наш взгляд, ошибка Наба в подаче Николая Гоголя американскому читателю – отказ русскому классику в значимости его общественной позиции. Сам демонстративно далекий от политики, Набоков навязывает эту позицию и Гоголю, что выглядит некоторой натяжкой и отходом от реальности. И «Ревизор», и «Мертвые души» писались Н.В. Гоголем в том числе и в надежде на изменение общественного сознания России 1830-40-х гг. Другое дело, нельзя не согласиться с Набом, что «*его [Гоголя] произведения, как и всякая великая литература, – феномен языка, а не идей*».

В 1945 году Набоковы получают американское гражданство и становятся равноправными обитателями «великой страны», выбравшейся из Второй мировой войны, как гусь из воды. Победа СССР едва ли серьезно коснулась писателя Набакофф, хотя его жена Вера была, несомненно, рада кончине великого юдофоба А. Гитлера и его Третьего рейха. В 1947 г. публикуется второй «английский» роман Наба **«Bend Sinister»** («Под знаком

незаконнорожденных»), а в 1948 г. писатель становится профессором Корнельского университета с соответствующим жалованием и общественным положением. В 1951-52 гг. он читает лекции уже в Гарвардском университете, куда его, однако, не пригласили: постарался Р. Якобсон – блестящий лингвист, но завистливый и бездарный писатель. Помимо основных лекций, Набоков читал особый спецкурс «Шедевры мировой литературы», куда входил анализ произведений таких писателей, как Гоголь, Флобер, Л. Толстой, Стивенсон, Кафка, Джойс, Пруст. Отбор этих имен говорит сам за себя. Появляются отдельные переводы Набокова из Пушкина и Лермонтова, на английском выходят его «русские» рассказы 1930-х гг. В 1951 году в Нью-Йорке выходят первые мемуары Набокова под названием «**Conclusive Evidence»** («Убедительное доказательство»), где он основательно описывает до-американский период своей жизни. Позднее появится русский вариант этих воспоминаний – «Другие берега», в котором Наб признается в мучительности своего перехода на другой язык: «*Книга… писалась долго, с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговоренный, русский, а ей навязывался другой лад – английский и обстоятельный*». В 1966 году эти воспоминания будут модернизированы и выйдут под названием «***Speak, Memory***».

С конца 1940-х и первую половину 1950-х гг. Набоков писал свою **«Лолиту» (1955)**, сделавшую его м и р о в ы м писателем. Конечно, любой гений в литературе, как правило, имеет несколько шедевров, но как бы мы воспринимали Шекспира без «Гамлета», Гёте без «Фауста», Джойса без «Улисса»?! Так было и с Набоковым: к своему великому роману он шел с 1927 года: «Лилит» – «Камера обскура» – рассказ «Волшебник»… Гений победил: Набу не только удалось опубликовать скандальную «Лолиту», он сумел «***завоевать ею мир***». Хотя вначале Набу пришлось пережить ряд трудностей: в США роман печатать наотрез отказались, он вышел в парижской «Олимпии Пресс», публиковавшей литературу сомнительного содержания. Первые отзывы на роман были весьма негативны, автору быстро приписали грех Гум берта. Очень многое решил восторженный отзыв Грэма Грина и последующая экранизация «Лолиты» удачливым Стэнли Кубриком.

Сам Набоков в послесловии к американскому изданию 1958 года «О книге, озаглавленной „Лолита“» достаточно подробно изложил все перипетии с публикацией и первой критикой на свой роман. Попытки общества навязать великому художнику примитивное толкование его текста были, разумеется, всегда, но Набокову было важно заставить читателя увидеть «когти и

крылья» его произведения. Он заявляет: «И когда я вспоминаю „Лолиту“, я всегда почему-то выбираю для особого своего услаждения такие образы, как учтивый Таксович, или классный список учеников Рамздэльской школы, или Шарлотта, или Лолита, как на замедленной съемке, подступающая к подаркам Гумберта…, или касбимский парикмахер, обошедшийся мне в месяц труда…, или бледная, брюхатая, невозвратимая Долли Скиллер и ее смерть в Грэй Стар, „серой звезде“, столице книги…». Набоков последовательно отвергает все обвинения в «порнографии», «анти человечности» и «антиамериканизме» книги. Наб справедливо замечает, что роман вообще существует лишь тогда, когда он может вызвать у читателя «эстетическое наслаждение». На наш строгий взгляд, роман «Лолита» в конце 20 столетия остается одним из непререкаемых его шедевров в литературе.

Композиционно роман «Лолита» (**«Lolita»**) состоит из двух частей плюс предисловие Д. Рэя, «доктора философии», которое носит чисто толковательный характер. Жанр «Лолиты» можно определить и как «роман с девочкой», и как роман-путешествие, и как эротический роман; как любое значительное произведение, «Лолита» выскакивает за рамки привычных жанров. Первая часть романа – «ожидание счастья» Г. Гумберта плюс его биография до встречи с Лолитой; вторая часть – «инфернальный рай» Гумберта с нимфеткой Долли, погоня за «исчезнувшей Долорес» и беспощадное возмездие драматургу К. Куилти. «Я родился в 1910 году, в Париже… Мой отец отличался…»: так начинается во 2 главе повествование о филологе, обладателе небольшого капитала и тайном любителе «нимфеток» Гумберте Гумберте. Автобиографическая манера повествования, очевидно, была нужна Набокову для углубленного показа психики главного героя, хотя Набоков не мог не предвидеть неприятных для себя последствий после публикации книги. Пережитая в юном возрасте любовь Гумберта к некоей девочке по имени Аннабелла («Я ребенком был, и она была…» – параллель с героиней стихотворения Э. Поэ «Эннабель Ли»), закончившаяся трагично, становится для Гумберта «проклятием», которое герой не в силах преодолеть. «Нимфетки», т. е. девочки в возрасте между девятью и четырнадцатью годами, которые обнаруживают некую «инфернальность» для *«очарованных странников»* вроде главного героя, становятся для Гумберта единственным способом вернуться в тот навсегда утраченный «рай детства», из которого герой наиболее четко помнит свое чувство к Аннабелле. И именно в двенадцатилетней Долорес Гейз из провинциального американского городка, именно и только в ней Гумберт сможет

заново обрести свое счастье.

Гумберт умен, образован и смел; он, безусловно, самый «начитанный» герой романов Набокова, не считая Шейда из «Бледного огня». Причем Гумберт пользуется этим своим талантом на всем протяжении романа: реминисценции из знаменитых авторов мировой литературы переполняют «Лолиту» с первой страницы. Первая встреча в романе с Лолитой (2 глава I части) сопровождается аллюзией па встречу Гамлета с Офелией из шекспировской пьесы: Гумберт, потрясенный увиденной девочкой из «княжества у моря», говорит ее матери, спрашивающей его о лилиях: «Они дивные, дивные, дивные». Герой постоянно «привлекает» авторитетных писателей вроде Поэ, Кэрролла или Ронсара для оправдания своей губительной любви к юным чаровницам в середине 20 века:

Полюбил я Лолиту, как Вирджинию – По,
И как Данте – свою Беатриче;
Закружились девчонки, раздувая юбчонки:
Панталончики – верх неприличия!

Портрет Лолиты дан автором довольно подробно: *«тонкие, медового оттенка, плечи, та же шелковистая гибкая обнаженная спина, та же русая шапка волос… Она состояла вся из роз и меда; на ней было ее самое яркое ситцевое платье с узором из красных яблочек; руки и ноги покрывал густой золотисто-коричневый загар; царапинки на них походили на пунктир из крошечных запекшихся рубинов… приоткрыв нежные губы, на которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка…»*. Но романная Лолита – вовсе не Вирджиния Клемм, полюбившая поэта Эдгара и посвятившая ему всю свою жизнь. Долли Гейз вполне обычная американка 12 лет, набитая «какофонией джаза», «фольклорными кадрилями», «мороженым под шоколадно-тянучковым соусом», любящая смотреть модные фильмы, «где за деньги оранжевые падают индейцы», и читать модные журнальчики. Однако, с другой стороны, в минуты предельной откровенности с Гумбертом Лолита обнаруживает то «нимфическое зло, дышавшее через каждую пору завороженной девочки», то «зло красоты», которое она сама была не в состоянии постичь.

В романе заметна существенная разница между героиней романа Лолитой и реально возможной тринадцатилетней американочкой, вскружившей голову поэтически настроенному греховоднику. В систему героини любой писатель волен вкладывать все, что ему заблагорассудится, – и Лолита порой напоминает студентку филологического факультета, цитируя

авторов, которых она, если и услышала бы от Гумберта, то тотчас же и забыла. Взросление Лолиты во II части книги происходит чересчур быстро, и Набоков «забывает» показать читателю его вехи. Конечно, обстановка Рамздэльской гимназии, многоопытная Мона Даль, постоянные «беседы» с «папашей» до и после совокупления могли сформировать ***новую Лолиту***, но ее побег и сожительство с Куилти, последующее замужество все же лишают возможности читателя поверить в это преображение. Думается, что образ Лолиты в мировой литературе – это пример *двойного образа*, слабое соединение приданной образу психики «обычной» американской девочки и некоторые монологи и диалоги с участием Лолиты, где она обнаруживает поистине «трагическое» понимание мира! Точно такими «двойными» образами переполнены романы другого русского писателя Федора Достоевского.

Лолита в романе Набокова периодически демонстрирует такое смещение: то цитируя Р. Бернса (глава 32 первой части), то бесконечно болтая на сленге американских подростков. Не случайно героиня – постоянный носитель 2-х имен в тексте романа – поэтического и завораживающего (Лолита) и реального, приземленного (Долорес, Долли). Поэтому рассматривать героиню как образ типичной юной американки, как делают это некоторые бездарные толкователи Набокова, совсем не стоит. Долорес/Лолита – достаточно сложный образ мировой литературы, именно поэтому роман Набокова по-своему бессмертен. И Гумберт, и Лолита – блестящие образы, сделанные рукой опытного мастера, и можно долго восторгаться мастерством Набокова, шедшего к их воплощению многие годы. Можно вспомнить истоки: **Лолита** – завершение таких образов, как Лилит, Машенька, Магда; **Гумберт** – соединение таких образов, как Ганин, Роберт Горн, отчасти Цинциннат Ц., Годунов-Чердынцев…

Но остановимся на подтексте романа «Лолита»: по нашему мнению, он имеет достаточно универсальный характер. Традиция модернистского искусства здесь предельно обнажена: автор постоянно комментирует свой собственный текст – как через манеру письма главного героя, так и через ряд опосредованных намеков. «Лолита» нагружена реминисценциями из произведений близких Набокову писателей и каламбурным обыгрыванием названий и ситуаций других произведений. Например, «Мистер Пим (проходящий мимо в известной трагикомедии) смотрел, как Пиппа (проходящая мимо у Браунинга) всасывает свою нестерпимую смесь» – аллюзия на повесть Э. Поэ и пьесу Браунинга более чем очевидна. Эротизм романа возвращает нас,

скорее, к античной откровенности, нежели к скабрезным описаниям де Сада или физиологической обнаженности последнего эпизода романа «Улисс» Джойса. Пожалуй, «Лолиту» можно было бы считать неким ***образцом модернистского романа***, если бы великое произведение вообще стоило бы назначать чем-либо. Думается, что читатели романа в 21 столетии едва ли обратят внимание на те «непристойности», которые обнаружили в нем критики и поборники нравственности в середине или конце века 20-го. Но своеобразная эстетика романа, но мощнейший эмоциональный заряд, но незабываемые набоковские образы, но блестящий постскриптум ко всей «до набоковской» литературе – будут воздействовать в с е г д а.

Успех «Лолиты» в конце 1950-х гг. принес Набокову и вожделенный достаток: *«никогда не думал, что смогу прожить на литературу, но теперь меня хранит маленькая девочка по имени Лолита»*. В «Постскриптуме к русскому изданию» романа Наб проследил все перипетии с путешествием «Лолиты» по мировым издательствам: 1958 г. – престижное издательство «Putnam»; 1959 г. – издательство Вайденфельда-Никольсона, Лондон; затем переводы на французский, немецкий, голландский, датский, греческий, итальянский, хинди, китайский, норвежский, турецкий, шведский и японский языки. К I966 году Набоков сам перевел свой лучший роман на русский язык, опасаясь возможных издержек, если за роман возьмутся «советские» специалисты.

«Швейцарский» период. Признание

До переезда в Швейцарию, страну богатых туристов и сытой жизни, Набоков в 1956 г. издал сборник «Весна в Фиальте» и другие рассказы, в 1957 г. завершил роман **«Pnin»** («Пнин»), перевел на английский язык «Героя нашего времени» Лермонтова (образы Печорина и Гумберта во многом перекликаются), в 1959 г. издал сборник «Стихи» (на английском языке). В центре романа «Пнин» – профессор русской литературы Тимофей Пнин, эмигрантской волной занесенный в США, не любящий ни этой страны, ни английского языка. Как замечал Набоков, его задачей было создание «характера комического, даже гротескного, но, в сопоставлении с так называемыми нормальными людьми, – более человечного, более чистого и цельного». Набоков вдоволь порезвился в романе, набросав довольно гротескные образчики представителей американской филологической науки, преподающих в университете, весьма напоминающем Корнель, где в свое время работал он сам. В очередной раз досталось в романе и «шаману полового мифа» З. Фрейду – пародийные образы Лизы и Эрика Финтов.

Есть в романе «Пнин» и некоторое переосмысление сюжета «Идиота» Достоевского (несмотря на то, что Набоков третировал великого писателя в своих критических разборах, он не менее часто использовал его сюжетные находки и некоторые приемы в собственных текстах). Когда Пнин готов пожертвовать собственным самолюбием и счастьем во имя не любящей его жены, это разительно похоже па сцену между Мышкиным и Настасьей Филипповной в романе Достоевского. Ситуации с ребенком Лизы Пниной-Финт параллельна известной ситуации из «Бесов»: Шатов – его жена Мари – ребенок Мари от Ставрогина. Конечно, американский колорит и заслуженный успех наложили отпечаток на личность Наба, но приходится признать, что и в США, и на английском Набоков продолжал прежде всего ***традицию русской литературы***, которая оказалась его писательским кодом, несмотря на вынужденную смену языка.

В 1960 году Набоков с Верой переезжают в Монтрё и поселяются в знаменитом отеле «Палас». В Женеве жила сестра писателя Елена, а в соседней Италии служил оперным певцом сын Дмитрий… До конца своих дней Набоковы так н не обзавелись собственным домом, что объясняется либо нежеланием жены Веры вести домашние дела, либо принципиальным решением Наба не менять свой ***славный русский дом*** детства на что-то иное. Есть и еще одна версия: обласканный буржуазной славой, Наб

предпочитал все время находиться в центре внимания, потому и выбрал «Палас-отель», а не что-либо скромнее. Пространные интервью Набокова появляются в престижнейших журналах: «Playboy», «Newsweek» и др., он выступает в культурных программах на швейцарском и французском телевидении. Словом, он не менее популярен в это время, чем Сартр или Дали. Тем не менее, отношение к Набокову со стороны коллег-писателей и, особенно, журналистской братии выглядит каким-то настороженным. «Лолита» сделала Наба всемирно известным, но она же вызвала в это время много неприятных вопросов и предположений о личной жизни создателя Гумберта.

В декабре 1959 г. Набоков пишет весьма замечательное и по стилю, и по чувству стихотворение **«Какое сделал я дурное дело…»**, скорее всего, это отзвук реакции писателя на обсуждение романа «Лолита». Оно до странности перекликается со стихотворением Б. Пастернака 1958 г. «Нобелевская премия»(возможно, является пародией на него). В тексте Пастернака: «Что же сделал я за пакость, я убийца и злодей?…»; в стихотворении Набокова: «Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей…» Затравленный в СССР Пастернак пишет: «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей…», у Набокова: «…мечтать мир целый о бедной девочке моей». На этом, впрочем, перекличка заканчивается. Две следующие строфы набоковского стихотворения – расклад его отношений с читателем, осознание Вечности своего искусства:

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.
Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

Здесь снова звучит любимая мысль Набокова о подлинном искусстве как о некоем чародействе, волшебстве; художник в этом контексте предстает то ли волшебником (магом), то ли искусителем людского рода. Что до колебания русской ветки на памятнике Набокову в Питере или в Москве, то оно до сих пор не происходит, но его предчувствие вполне может сбыться к 120-летию со Дня его рождения, например.

В 1962 году в издательстве «Putnam» публикуется роман «Бледный огонь» (**«Pal fair»**), смысловым центром которого

является поэма главного героя Д. Шейда «Pal fair». Это 999 строк блестящей английской поэзии:

Я тенью птицы был, нашедшей смерть
В лазури лживой, грянувшись о твердь
Стекла…

Многозначное начало поэмы, постоянные переклички с «птичьей» темой в литературе («Альбатрос» Ш. Бодлера, «Пьяный корабль» А. Рембо, «Сказание о старом мореходе» С.Т. Кольриджа и др.), ее духовная насыщенность делают эту часть романа главной. Жизнь профессора Шейда в поэме и его жизнь за рамками поэмы существенно разнятся: там, вне текста, он всего лишь старый скучный профессор, жизнь которого комментируется другим персонажем – беглым королем Чарли Кинботом. По словам Веры Набоковой, переведшей поэму на русский язык, ее главная тема – тема смерти.

Если судить по центральному персонажу романа, доктору Д. Шейду, то это, возможно, и так: «*Стикс, грань потерь, за коей негде плыть! Твое, Рабле, большое „Может Быть“*…». Шейд, попав в транс, видит на том свете «белеющий родник», он много размышляет по этому поводу, пытается установить соответствие своего видения другим, подобным, но… Не дописав поэмы, профессор гибнет от пули террориста, которая была предназначена совсем не ем у. Если же судить по «комментатору» поэмы Кинботу, то это роман о Зембле – несуществующей стране, где Чарли был королем Карлом. В целом «Бледный огонь» можно считать и тем, чем он действительно является – вторым, после «Лолиты», постскриптумом Набокова к мировой литературе. Хорхе Борхес вообще сделал этот прием культурного постскриптума основным своем творчестве, Наб лишь иногда пользовался им – но на уровне достаточно глобальном.

Лучшее в романе «Бледный огонь» – поэма «Pal fair», лучшее в поэме – ее поэзия! Умение Набокова из обыденного пейзажа сотворить «цвета причудливой загадки» (Рембо) видится здесь особенно отчетливо:

И я отвергну вечность, если вдруг
Исчезнут в ней привычные давно
И боль, и страсть, и красное вино
Вечерних звезд, от нас бегущих… След
Улитки на камнях; твой страх, что нет
Ни сигаретки, смех при виде пса,
И пурпурная эта полоса…

Все остальное в этой поэме – темы, образы, Институт Мак Абера, переживания героя о неизбежном – это только декорации, обставляющие чарующие созвучия «Pal fair».

Несколько слов о 2-й части романа – комментарий поэмы Шейда Кинботом. Эта часть, с одной стороны, комментируя поэму, с другой – реконструирует облик том невозвратимой Земблы, где так «падки на цареубийство». Джейкоб Градус, никчемный юноша и неудачливый убийца, уверенно движется по ходу комментария к месту своего злодеяния. В этом месте, в финале «Бледного огня», и сходятся наконец пути трех героев – Шейда, Чарли Кинбота и Градуса. Вот кратко сюжет этой части романа, чересчур занимательным его называть трудно. Однако значительным его делает замечательный набоковский пастиш, с его иронией: «…где-то между „Абортом“ и „Ясперсом“» (поиск нужного слова в словаре), привычным эротизмом: «…в безмятежной безопасности ласкает какое-нибудь юное и прелестное существо» и цитатностью. Роман «Бледный огонь» интересен именно своей двойственностью: прозаическим, скучноватым обрамлением и блестящей поэзией самой поэмы. Сам Набоков замечал по этому поводу: *«Там и сям находил я в поэме и особенно… блестки и отголоски моего духа, длинную струйную зыбь, – след моей славы»*.

В 1964 году в Нью-Йорке выходит прозаический перевод «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, выполненный Набоковым. Перевод сопровождался двумя томами комментария к великому роману. Между Набом и Э. Уилсоном, который не согласился с самой идеей переводить стихотворный текст как прозаический, немедленно развернулась шумная полемика в печати, закончившаяся разрывом отношений. В этом же году французский журнал «L’ Arc» посвящает целый номер писателю В. Набокову. В 1966 г. выходит первая объемная монография о творчестве Набокова – *С.П. Стегнер «Бегство в эстетику: Искусство Владимира Набокова»*, о которой за неимением лишнего места мы говорить не будем. Гений, уже признанный и обласканный публикой, всегда вызывает к жизни сотни пустых и бесполезных статеек и десятки монографий, где кто-нибудь, ужасно начитанный, спешит заверить весь мир и самое себя, что он-то уж точно разобрался в искусстве и приемах Мастера и не понимает, как это можно был не ценить его ранее. Тема, заявленная в начале нашего эссе, скромно *и почти незаметно для читателя* продолжена здесь.

В сентябре 1966-го Набоков дал интервью своему бывшему

студенту Альфреду Аппелю, где достаточно честно и аккуратно проанализировал свое англоязычное творчество. Безусловно, интервью не свободно от некоторой позы и саморекламы, но внимательный читатель сразу же заметит те ценности, которые защищает Набоков в искусстве, и то, что вызывает его негодование и раздражение. Мэтр Набакофф справедливо считает, что «***искусство писателя – вот его подлинный паспорт***», выводит свою систему оценки качества труда художника. Наб советует критикам указывать лишь на грамматические ошибки и опечатки в его текстах, а об идеальном читателе говорит так: «*Мне было бы приятно, если бы мою книгу читатель закрывал с ощущением, что мир ее отступает куда-то вдаль и там замирает наподобие картины…»*. Из писателей своего столетия Набоков выделяет Джойса, Кафку и Пруста, сочувственно говорит о Борхесе и Роб-Грийе. Из месива советской литературы выбирает «двуединого гения Ильфа-Петрова», стихи Заболоцкого, романы «в жанре научной фантастики» А.Н. Толстого. В собственном творчестве Набоков *«привязан – больше всего к „Лолите“, ценю – „Приглашение на казнь“*.

Последние годы жизни ознаменовались тремя завершенными романами Набокова: ***„Ада, или Страсть“ (1969), „Прозрачные вещи“ (1972), „Посмотри на Арлекинов!“ (1974)***. Было издано несколько сборников рассказов: „Красавица“ и другие рассказы», «„Подробности заката“ и другие рассказы», «„Истребление тиранов“ и другие рассказы». В 1973 году опубликована работа «***Strong Opinions***» («Твердые суждения»), содержавшая письма, интервью и замечания Наба о жизни и искусстве. Из трех последних романов Набокова можно особо выделить роман «Прозрачные вещи».

По словам одного из критиков Набокова, *«Главный фокус… „Просвечивающих предметов“ заключается в позиции повествователя, который ведет рассказ из „потусторонности“ и потому прошлое для него проницаемо»*. В этом заявлении все – от неправильного перевода названия романа до пошлых рассуждений о «потусторонности» повествователя – служит примером «гудмэнского» подхода к трактовке набоковского текста. Тема смерти в «Прозрачных вещах» присутствует, но ее никак нельзя считать основной. Как мы уже говорили, «роман с девочкой» – удачная жанровая находка Набокова, элементы этого жанра есть и в этом тексте. Фотографии обнаженной Арманды в юном возрасте, намек на растление писателем R тринадцатилетней Джулии и т. д. – вновь обнажают тему «нимфолепсии» в романе. В начале 21 века для обозначения этого явления чаще используют гораздо более хлесткое словцо,

попахивающее уголовной статьей. Можно, конечно, сделать вывод о том, что внимание к нимфеткам было свойственно не только Эдгару Г. Гумберту, но и… Однако можно такой вывод и не делать, сославшись на удачно найденный Набоковым «трюк», позволяющий ему и его издателю поднимать тираж очередной его книги.

Начало романа знаменательно: *«Вот персонаж, который мне нужен. Привет, персонаж! – Не слышит…»*. Театрализация сюжета свойственна некоторым вещам Набокова, но здесь писатель сбрасывает последние оковы литературных условностей. «Реальный» герой Хью Персон частенько станет уступать в тексте место своему кукольному двойнику, не делаясь от этого менее осязаемым. «Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности…» – замечательно веское наблюдение романного повествователя. Арманда Шамар, швейцарский поезд на пути между Туром и Версексом, чтение новой книги писателя R – и жизнь мнимого Персона обретает свой смысл в романе. Мальчик в ночной рубашке с танцующими вокруг него овощами из детской книжки – и погибающий в пламени Персон: две эманации существования этого персонажа в романе «Прозрачные вещи».

Хотя, что ни говори, Персон нужен повествователю лишь для запланированного в самом начале текста интервью с известным писателем в 18 главе. Здесь Набоков обыгрывает любимое свое замечание, что «подлинное искусство выше ложной почтительности». Персон приехал в Европу, чтобы заставить писателя R изменить «ряд слишком узнаваемых персонажей» и сменить название книги ***«Транслятиции»*** на более коммерческое и понятное. Однако R объясняет незадачливому лит. агенту, что *«заглавие просвечивает сквозь книгу, рождается вместе с книгой…»*. Что же касается изменения характеристик «узнаваемых» персонажей, то писатель настаивает, что, «как бы решительно образ не изменяли, прототип все равно будет опознан по форме дыры, остающейся в ткани повествования». Автор романа иронично восклицает: «Чего же ты ждал от своего паломничества, Персон? Простого зеркального возвращения старых страданий…». Или все же герой ждал от автора нарисованного ему с неумолимой жестокостью пути, завершившегося в пламени пожара. Наверное, вопрос этот – риторический, и мнением персонажей большая часть авторов интересуется крайне редко.

В 1972 году нобелевский лауреат и самый знаменитый в то время диссидент СССР А.И. Солженицын выдвигает на эту премию Набокова. Трудно представить себе более далеких друг от друга

русских писателей 20 века, чем эти двое. И по политическим взглядам, и по эстетике, и по отношению к роли литературы в жизни общества. Однако, это выдвижение ничем не закончилось… Нобелевскую премию Набокову так и не дали. Видимо, для ее получения Наб был слишком аполитичен, слишком независим, его творчество после «Лолиты» оценивалось слишком неоднозначно… Группе людей в Нобелевском комитете, определяющих, кому предложить награду, эта кандидатура не подходила. Ведь гораздо спокойнее дать премию пишущему «борцу за свободу и мир во всем мире», ловкой литературной бабёнке или какому-нибудь нудному писателю из «развивающихся» стран, но вот Гению от литературы – никогда. Ряд известнейших изданий («Гардиан», «Нью-Йорк Таймс» и др.) причислили В. Набокова к тем писателям, которые были незаслуженно обойдены вниманием Нобелевского комитета.

Роман «Посмотри на Арлекинов!» и стихотворение «To Vera» датированы одним годом (1974) и, возможно, являются своеобразным поэтическим завещанием В.В. Набокова. Конечно, есть еще незавершенный роман «***The Original of Laura***», впервые опубликованный в 2009 году и уже переведенный на русский язык. Известно, впрочем, что сам Набоков не вполне желал публикации этого произведения. Конечно, можно еще долго рассуждать о значимости и принципиальной новизне «больших» произведений Набокова, среди которых выделяются романы «Камера обскура», «Дар», «Истинная жизнь Себастьяна Найта», «Лолита», «Бледный огонь». Можно сказать и более лаконично: гениальный автор достойно прошел уготованный ему писательский путь, его имя навсегда сохранится в мировой литературе, как уже хранятся там имена Шекспира, Рабле, Пушкина, Гоголя, Пруста, Джойса…

В финале нашего эссе процитируем стихотворение Набокова к жене полностью, заметив, что Геометрия и Венеция здесь, вероятно, филигранная техника и полет воображения в писательском творчестве, Арлекины – неповторимые персонажи Набокова, а конечная само характеристика – ирония, смешанная с тугой болью:

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
Назовут шутовством и обманом.
Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам…
«N – писатель недюжинный, сноб и атлет,

Наделенный огромным апломбом…»

2 июля 1977 года Владимира Набокова не стало. Он был похоронен на кладбище в Клэренсе, близ Монтрё. После отъезда из России в 1919 году Наб так и не побывал на родине ни разу… Он и не думал, что сможет в скором времени вернуться в советскую Россию своими произведениями. Но уже в середине 1990-х гг. к нам вернулись все его тексты – и на русском, и на английском, и на всемирном языке поэтов и мыслителей.

Писать о гении сложно, но жизнь распоряжается так, что Борхес пишет о Сервантесе, Набоков – о Гоголе, а мы только что закончили повествование о Набокове. Удалось ли нам хотя бы отчасти приподнять занавес над тайнами «волшебства» великого мастера, прояснить смысл некоторых его текстов? Не свернули ли мы с магистрального сюжета жизни и творчества Набокова-Сирина? Каждый читатель эссе сам может ответить для себя на эти непростые вопросы. Кстати, заглавие нашего эссе объяснено эпиграфом к нему: великий русский писатель смог прийти к прекрасному русскому читателю лишь через мировое признание и американское гражданство.

Впрочем, «***я возвращусь когда-нибудь…***»: воистину так.

Февраль-март 1995 г.,
лето 2011 г.